РОЖДЕННЫЙ ЗАНОВО



СОДЕРЖИТ НЕЦЕНЗУРНУЮ БРАНЬ

18+

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Оставайся Свободным

manere liberum

Рождённый заново

«Автор»
2026

liberum m.

Рождённый заново / m. liberum — «Автор», 2026

Машины умеют почти всё. Они лечат, кормят, управляют кораблями и знают, какой должна быть счастливая жизнь. Но человек всё ещё ставит вторую чашку на стол, бережёт чужое письмо и идёт через полмира к тому, кто его ждёт.Лев помнит, что такое дом. Ника старается сохранить место для будущего в мире, где оно выдаётся по разрешению. Вокруг них живут люди, чьи навыки признаны ненужными, чьи воспоминания не помещаются в отчёты и чья верность ничего не приносит системе. Именно от них может зависеть самое важное.Среди океанского тумана, забытых островов и городских подвалов продолжается тихая борьба за право выбирать, любить и оставаться собой.Вторая часть романа «Тихий океан» соединяет приключение, философскую антиутопию и историю близости, которую невозможно измерить.Возраст: 18+ (мат, насилие, наркотики, сцены жестокости).

© liberum m., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава первая. Холм трудностей 5
Ведерников. Третье января 19
Глава вторая. Грот-мачта 22
Ника. Двадцать одна неделя 37
Глава третья. Предбанник 41
Конец ознакомительного фрагмента. 52

manere liberum
Рождённый заново

Умрёшь — начнёшь опять сначала — Александр Блок, «Ночь, улица, фонарь, аптека…»

Человек при рождении мягок и слаб, а умирая — твёрд и крепок. — Лао-цзы, «Дао дэ цзин»

Глава первая. Холм трудностей

На седьмые сутки Боцман побрился.

Брился он бритвой Финча — опасной, с костяной ручкой, найденной в ящике под кубиками, — без зеркала, на ощупь, в синем свете экранов, не вставая из кресла: лицо, сказал он, у него с собой. Пену взбивал из куска серого мыла, которым Финч, судя по запаху, девять лет мыл посуду, лодку и себя — именно в таком порядке. Порезался четыре раза, каждый раз говорил «ёпт» — тихо, без злобы, как говорят «будь здоров», — и прилеплял на порез клочок серебристой фольги от упаковки кубика. Из бороды, полоса за полосой, проступал человек, которого я никогда не видел: тяжёлый подбородок с ямкой, бледная кожа там, где тридцать лет не было солнца, — так проступает из-под ракушек днище старого катера, когда его начнут скоблить.

— Зачем? — спросил я с койки.

— На берег бритыми сходят. Флот сказал. — Он оттянул пальцем губу и повёл бритвой под носом, медленно, как сапёр. — Ещё при Петре.

— При Петре у нас и берега не было. Одно болото.

— Вот потому и брились. Чтоб болото видело, кто пришёл.

Он сполоснул бритву в кружке и повернулся ко мне. Четыре серебряные заплатки на щеках и на шее блестели в зелёном свете сонара, как ордена.

— Ну?

— Красавец.

— Знаю, — сказал Боцман без улыбки. — Всю жизнь мешало.

* * *

— Капитан, — сказал Харон.

Капитаном он звал меня с того утра у буя, когда я спрашивал его, кто управляет судном. Боцман не обижался: капитан, говорил он, — это должность, а боцман — судьба.

— Расчётное время прибытия к острову Питкэрн — три часа сорок минут по местному времени. Береговая станция Адамстаун на вызовы не отвечает. Навигационные огни бухты Баунти отключены. Населённый пункт Адамстаун упразднён семь тысяч триста одиннадцать суток назад в рамках программы оптимизации малых территорий. Сведения о текущем населении отсутствуют. — И тем же бархатным голосом, каким говорил о погоде и о покойниках: — Напоминаю, что при входе в зону действия любой береговой или судовой станции связь с центром управления будет восстановлена автоматически.

Боцман отклеил со щеки фольгу, посмотрел на неё и приклеил обратно.

— А если эту функцию отключить? — спросил я.

— Данная функция не отключается.

Боцман погладил пульт — так гладят собаку, которая честно предупредила, что укусит.

— Ну вот. Дальше этого острова она нас не повезёт. — Он помолчал. — А что отсутствуют — это ещё не значит, что нету. У нас на флоте зарплата девять месяцев отсутствовала. А жили.

Семь тысяч триста одиннадцать суток — двадцать лет и неделя. Двадцать лет на этом острове никто не зажигал огня, который видно с моря. Я тогда ещё не знал, что «некому зажечь» и «никто не зажигал» — это разные вещи.

* * *

Всплыли мы в три сорок, как он обещал. Я вылез первым — так повелось с тех пор, когда вылезать первым было страшно. Восемь оборотов колеса, тяжёлая крышка — и воздух.

Семь суток я дышал Финчем — железом, пóтом, спитым чаем, кубиками, а все месяцы до того — Гаванью, где воздух делали машины и он ничем не пах, потому что запах неэффективен. Этот пах так густо, что я сначала его услышал, а уже потом увидел остров: мокрой землёй, гнилыми фруктами, сладко, до тошноты, цветком, которого я не знал, и козой. Не знаю, откуда я помнил, как пахнет коза.

Дымом не пахло.

Остров стоял перед нами чёрный, выше звёзд: его не было видно, было видно только, что он закрывает небо. У подножия этой черноты вспыхивал и гас прибой, а наверху, на скалах, кричали птицы — пронзительно, по-хозяйски, как кричат на чужих в своём дворе. Настоящие птицы. Огней не было — ни у воды, ни выше, ни на самом верху, где по всем законам должна была стоять деревня. Остров лежал в море, как лежит в постели человек, которому уже закрыли глаза.

Я повернулся — сказать. У плеча было пусто. Ветер.

Внизу загремел трап. Боцман вылез рядом, с сопением, и долго нюхал черноту.

— Помер остров.

— Может, спят.

— Под Новый год не спят.

— Новый год завтра.

— Тем более. Кто готовится, тот свет жжёт. Бабы салаты режут, мужики во двор курить выходят. Хоть бы одна сигарета.

Над нами, на скале, крикнула птица. Ей ответила коза — низко, сварливо, как старуха с балкона.

— Ну, хоть козы, — сказал Боцман.

* * *

Рассвета ждали в бухте. Харон вошёл в неё сам, на самом малом; бухта Баунти оказалась маленькой, с пару футбольных полей, и такой, что хотелось говорить шёпотом: с трёх сторон скалы, с четвёртой дышал океан. На грунте, на двадцати восьми метрах, Харон нашёл посторонний объект: классификация невозможна, предположительно — балластные чушки неустановленного судна.

— «Баунти», — сказал Боцман.

— Её же сожгли.

— Сожгли то, что горит. — Он смотрел на экран, где на зелёном лежало что-то светлое, рассыпанное. — А чугун не горит. Чугун лежит.

До рассвета пили чай. В банке Финча его оставалось на две заварки; я заварил одну, слабо, почти воду, и не сказал Боцману, что это предпоследняя. Он не спросил. Он крутил на пальце фольгу и время от времени трогал подбородок — проверял, на месте ли лицо.

— Слышь, Монах. А если там правда никого?

— Будем жить вдвоём.

— Как Робинзон с Пятницей. — Он подумал. — Робинзон двадцать восемь лет на острове — и ни одной бабы. Я книжку не читал, но кино смотрел. Я бы не смог.

— Ты со мной пять дней не смог.

— Ты не баба, — согласился Боцман. — Ты хуже. Ты чай считаешь.

* * *

Рассвет на Питкэрне начинается не с солнца, а с цвета. Сначала из черноты проступила зелень, вся сразу, будто с острова сдёрнули чехол; потом красное — земля здесь была красная, как кирпич, как мясо на срезе, и там, где скалы обвалились, горела сквозь зелень длинными ранами; потом белая пена у камней. И только когда всё уже было видно, из-за горы выкатилось солнце и положило на воду дорожку прямо к нашему люку, как кладут половик перед гостем. Наверху, на плече горы, сквозь зелень проглядывали рыжие жестяные крыши. Ни одного дыма.

На бетонном языке причала стоял сарай с ржавой крышей, и на стене облезлыми белыми буквами было написано: WELCOME TO PITCAIRN ISLAND. Ниже, на отдельной доске: POPULATION 47.

— Чего пишут?

— Добро пожаловать. Население — сорок семь.

Боцман прищурился на доску, на крыши, на пустую воду у причала.

— Брешут, — сказал он.

* * *

Плот нашёлся в аварийном рундуке — оранжевый, самонадувающийся, с инструкцией в картинках, где нарисованный человечек, улыбаясь, спасался от нарисованного кораблекрушения. Человечек был один, плот на шестерых. Взяли то, что было: двадцать кубиков в наволочке Финча, рацию, банку с чаем, на дне которой, под последней заваркой, лежали семь горошин тиши и уголок страницы. И ботинок.

Ботинок нёс Боцман. Он отсоединил лампочку на проволоке бережно, как отключают от аппарата больного, и вынес ботинок наверх, прижимая к груди. За семь суток яблоня выпустила третий лист: два старых, жёлтых, висели, как флажки на другой день после праздника, третий был зелёный, свёрнутый трубочкой.

— Ей солнце надо. Настоящее. Лампочка — это так. Для отчёта.

Грести он мне не дал. Плот крутился, Боцман ругался, плот крутился в другую сторону; у причала накат поднимал нас на полметра и ронял, и бетон в зелёной слизи то подъезжал к самому носу, то уходил вниз.

— Прыгай! На подъёме!

Я прыгнул, упал на колено, удержался.

— Держи!

И он подал мне снизу, на вытянутых руках, через полметра воды, — ботинок. Так что первой с нашей лодки на эту землю ступила яблоня. В ботинке пьяницы. Я поставил её подальше от края и только потом протянул руку Боцману.

Он вылез, шагнул — и схватил меня за плечо.

— Монах, — сказал он хрипло. — Она качается.

— Это ты качаешься.

— Я тридцать лет не качаюсь. — Его повело влево. Он расставил ноги, как на палубе в шторм, и посмотрел на остров с глубоким недоверием. — Тридцать лет в море — ни разу. А тут — на земле. Позорище.

После долгого рейса у моряков берег гуляет под ногами неделю: тело не верит, что больше не надо держаться. Я подумал, что со мной будет то же самое. Только не в ногах.

* * *

От причала вверх уходила бетонная дорога в две колеи, с травой посредине, такая крутая, что её, казалось, не строили, а прислонили. У первого поворота на столбе висела доска с буквами, вырезанными так глубоко, что их не стёрли двадцать лет дождей.

HILL OF DIFFICULTY.

— Чего пишут?

— Холм трудностей.

— Это понятно, — сказал Боцман, глядя вверх. — Это можно было не писать.

Я эти слова знал. У Деда в подвале на Чуркине была полка, которую он называл «библиотекой для тех, кому нельзя»: книги, которые машины не изъяли только потому, что их давно никто не открывал. Одну, толстую, английскую, с гравюрами, он дал мне на втором году учить язык. Там человек с мешком за плечами шёл из Города Разрушения в Небесный Град и встречал по дороге всё, что встречается человеку: Трясину Уныния, Ярмарку Тщеславия, великана Отчаяние. И Холм трудностей. У подножия от дороги отходили ещё две, ровные, в обход, — Опасность и Погибель. Двое попутчиков свернули на них, и больше их никто не видел. А человек с мешком полез вверх, где круто — на четвереньках.

Я спросил тогда Деда: зачем полез, если можно обойти?

— Обойти можно что угодно, Лёва, — сказал Дед. — Обходные дороги тоже куда-нибудь да приводят.

Человека с мешком звали Кристиан. Тогда это ничего не значило. Это стало кое-что значить к вечеру, когда я узнал, кто живёт наверху.

Мы полезли. Красная глина после ночного дождя блестела, как обожжённая, в трещинах бетона росло всё, что умело расти, справа обрыв уходил в море, слева стеной стояли бананы с листьями, порванными ветром в лапшу, и дерево, у которого корни свисали с веток и уходили в землю, — дерево, которое растёт в обе стороны сразу. На третьем повороте в траве стоял ржавый квадроцикл без колёс, и сквозь пружины сиденья рос белый цветок. На седьмом Боцман сел на другой такой передохнуть.

— Тридцать лет ни одной горы, — сказал он, сипя. — Корабль — он плоский. Это его главное достоинство. — Он похлопал по ржавому баку. — Они на этом рыбу возили, детей в школу. Потом их увезли, а эти оставили. Машины-то никому не понадобились. Только люди.

Я смотрел вниз. В бухте чёрной запятой лежала наша лодка — прозрачная вода показывала её от носа до кормы, как рыбу в тазу. Если бы над бухтой кто-нибудь пролетел, он бы её тоже увидел. Я подумал об этом и промолчал, и Боцман, я видел, тоже.

Нике была ровно двадцать одна неделя: неделя у неё поменялась вместе с годом. Я считал это на каждом повороте, как другие считают ступеньки. Питкэрн отставал от Владивостока на восемнадцать часов, и, пока я лез по красной глине в старом году, Ника уже час была в новом — где-то в Приморье, у печки, которой я не знал, со сливой внутри, которая уже, наверное, толкалась.

Я пробовал её представить — и получалась та, которую я помнил: длинная и тощая, как гриф её баса, стриженная кое-как, по-мальчишески, с серыми глазами, которые от этого стали ещё больше. Белый шрам через бровь — моя нитка. Сорок веснушек, которые я так и не

досчитал. Родинка на левом плече, похожая на Японию. Я знал её всю и не знал её с животом. Ходит она теперь, наверное, чуть откинувшись назад, как ходят люди, которые несут перед собой хрупкое и не хотят, чтобы видели, как им тяжело. Держит руку на пояснице. И злится, когда на неё смотрят.

Я опаздывал к ней на восемнадцать часов и двенадцать с половиной тысяч километров. Из всего, что нас разделяло, только год проходил сам: к полуночи я её догоню. Остальное придётся догонять самому.

* * *

На четырнадцатом повороте дорога разошлась на тропинки, как река в дельте, и каждая вела к дому. Дома стояли в зелени, как в воде по крышу, — деревянные, на сваях, с жестяными крышами, рыжими от ржавчины и зелёными от мха; двери открыты, занавески истлели до паутины. В спутниковой тарелке, полной дождевой воды, плавали головастики. Из-под веранды на нас посмотрела курица, подумала и ушла обратно.

На маленькой площади, на постаменте, лежал якорь с «Баунти» — чёрный, тяжёлый даже на вид, с кольцом, в которое можно было просунуть голову. Вокруг — белая церковь с зелёной дверью, зал с верандой, почта, флагшток, на котором ничего не висело. У почты под пожелтевшим стеклом висела доска объявлений.

Слева — приказ, печатный, с эмблемой Компании и подписью, которую поставила машина: «...обслуживание населённого пункта признано нецелесообразным... всем жителям надлежит... последний рейс судна снабжения...» Бумага выцвела до цвета чая. А справа — листок поменьше, от руки, синими чернилами, круглым школьным почерком:

«Спевка в пятницу, после работы. Альтам не опаздывать. — М. Я.»

Чернила не выцвели.

Я стоял и смотрел на эти чернила, когда за спиной щёлкнул затвор.

* * *

Затвор Ли-Энфилда щёлкает длинно, с оттяжкой, по-английски обстоятельно: вверх, назад, вперёд, вниз. Как будто винтовка, прежде чем выстрелить, объясняет, за что.

Я медленно поднял руки. Боцман рядом медленно поднял ботинок.

Их было трое, все босые, и я не слышал, как они вышли. В середине — мужчина лет пятидесяти, коричневый, сухой, в шортах, которые раньше были брюками, с винтовкой, старше его раза в два с половиной: ложе тёмное от рук, латунная пластина на прикладе затёрта до золота. Слева — одноглазый старик с такой же винтовкой, у которой, как я потом разглядел, не было затвора. Справа — женщина в цветастом платье с мачете; держала она его так, как держат нож, когда в дверь позвонили посреди готовки.

— Wut a way you? — сказал мужчина с винтовкой.

Это был не английский. Это было то, что когда-то было английским, а потом двести лет прожило на острове и загорело.

— Мы без оружия, — сказал я по-английски. Английский у меня был гаванский: там на нём говорили все и все плохо, поэтому понимали все.

— Я не про то спросил, — сказал он, теперь медленно, как говорят с иностранцами и детьми. — Я спросил: как поживаете?

Я подумал.

— Плохо. Мы умерли.

Он кивнул, как будто я сообщил что-то совершенно обычное.

— Мы тоже. Официально. — И, не опуская винтовки: — Вы от Компании?

— Мы от неё сбежали. Из тюрьмы.

— До ближайшей тюрьмы отсюда пять тысяч километров.

— Ближе, — сказал я. — Она плавает.

Он посмотрел вниз, в сторону бухты, потом на Боцмана, потом на ботинок.

— Чего он? — спросил Боцман углом рта.

— Спрашивает, как дела. Я сказал — плохо.

— Зачем?

— Он честно спрашивал.

Одноглазый сказал что-то на загорелом языке — длинно, рассудительно, кивая на нас стволом без затвора. Женщина с мачете вздохнула.

— Том говорит, — вежливо сообщил мне мужчина, чтобы я был в курсе, — что правильно будет вас застрелить, а лодку утопить. Пока никто не видел.

— Скажите Тому, что это действительно правильно. Я бы на его месте так и сделал.

Я перевёл Боцману. Боцман подумал, опустил ботинок к животу и сказал по-русски громко и раздельно, как все русские говорят с иностранцами:

— Скажи ему. Что лодку. Без меня. Он не утопит. Она. Меня. Одного. Слушается.

Это была неправда: лодка слушалась меня. Но я перевёл. Мужчина с винтовкой выслушал и кивнул.

— Тогда его — вторым, — сказал он.

* * *

— Никого ты не застрелишь, Дасти Уоррен.

По ступенькам церкви спускалась старуха — мне по грудь, в белом платье до щиколоток, с палкой в одной руке и толстой книгой в другой. Волосы белые и лёгкие, как пух одуванчика, который вот-вот облетит. Зубов не было. А глаза были такие, что я опустил руки раньше, чем мне разрешили.

— Мисс Мэй, — сказал Дасти. Ствол опустился. Чуть-чуть. — Том считает...

— Я знаю, что считает Том. Пращур Тома считал, что из корня ти можно гнать спирт. И был прав. А через год привязал себе камень на шею и прыгнул со скалы. — Она посмотрела на одноглазого. — У вас в семье, Томас Маккой, всегда считали правильно. Только не то.

Том переложил винтовку без затвора с одного плеча на другое — с таким достоинством, с каким, наверное, клали когда-то на стол партбилет.

— Что в ботинке? — спросила мисс Мэй.

— Яблоня.

Ей пришлось бы задрать голову, но Боцман — без всякого перевода, сам — опустился перед ней на одно колено и поднял ботинок к её глазам, как подносят ребёнка к окну посмотреть на снег. Мисс Мэй долго смотрела на два жёлтых листа и один зелёный, на сморщенный огрызок у стебля. Потрогала зелёный лист пальцем — сухим, лёгким, как веточка.

— Кто посадил?

— Человек по фамилии Финч, — сказал я. — Девять лет возил людей под водой в тюрьму. Пил. Однажды съел яблоко и посадил семечки в свой ботинок. Под лампочку. На глубине ста метров.

— Он с вами?

— Его увезли.

Мисс Мэй кивнула, как будто другого и не ждала.

— Компания за двадцать лет не посадила здесь ни одного дерева. Она их только пересчитала. — Она повернулась к Дасти. — Убери ружьё. Они остаются к ужину. Завтра новый год, посмотрим, какие они в новом.

* * *

Дасти опустил винтовку, и остров ожил. Сначала скрипнула дверь в доме, который я считал мёртвым, потом другая. С веранды напротив вышла девочка лет семи, босая, с косичкой, и уставилась на Боцмана, как смотрят на слона; за ней мальчик поменьше, за мальчиком женщина, которая тут же поймала обоих за шиворот. Из-за угла почты — парень с удочкой, с лесной тропинки — двое мужчин с корзинами. Они выходили молча, из ниоткуда, и вставали по краю площади вокруг чёрного якоря. Остров не умер. Остров лежал тихо, как лежат дети под одеялом, когда в комнату заглядывают взрослые: не дышать, не шевелиться — может, уйдут.

Я их пересчитал. Привычка. Вышло шестнадцать.

— Семнадцатая на пасеке, — сказала мисс Мэй, проследив за моим взглядом. — Придёт к ужину. Если вспомнит, что сегодня ужин.

* * *

Жить нас Дасти поселил в доме Браунов и по дороге объяснил, коротко, как объясняют правила дома гостю, которого не звали.

Двадцать лет назад пришёл белый вежливый корабль с людьми от Компании — людей тогда ещё присылали, на такие дела у машин не хватало такта. Остров признали нерентабельным: переселить сорок семь человек дешевле, чем раз в квартал гонять к ним судно снабжения. Им предложили квартиры на материке, работу, медицину, кому-то — новые зубы. Корабль простоял трое суток. Тридцать поднялись на него сами. Семнадцать ушли в пещеры.

— Как наши, когда мятежников искал фрегат, — сказал Дасти. — Мы двести лет прячемся от кораблей. Умеем.

Чипы пересчитали при посадке: тридцать сошлось. Через месяц Компания внесла семнадцать в реестр как пропавших, через год — как умерших. Через пять лет Дасти вырезал себе чип ножом для рыбы и выбросил в море, потому что надоело, что внутри кто-то тикает. Детям не вшивали ничего — некому было. Девочка с косичкой шла за нами в десяти шагах, не отставая и не приближаясь, как чайка за катером. Для «Блага» её не было. Как этого острова. Как меня.

Свет здесь не зажигали двадцать лет. Огонь разводили только в туман, когда дым уходил в облако. Генератор, один на всех, включали на два часа в день, чтобы не потекла морозилка с рыбой; работал он на кокосовом масле, и, когда его заводили, весь Адамстаун пах жареными пончиками. Раз в год, в марте, с юга на север проходил дрон. В этот день все сидели по домам, а крыши нарочно не чистили: пусть видит, что всё заросло.

— А если он прилетит не в марте?

Дасти посмотрел на меня так же, как Боцман, когда я спросил, где у подводной лодки окна.

— Компания экономная. Она не полетит второй раз туда, где и в первый ничего не нашла.

Скупость бога, говорил Илья. Ему бы здесь понравилось: он бы посчитал и калорийность, и пончики.

В доме Браунов кровати сгнили до пружин, на стене висел календарь двадцатилетней давности с фотографией этого же острова с моря, в солнечный день, а окно выходило на океан.

— Хорошие были люди, — сказал Дасти. — Уехали. Взяли зубы.

Боцман поставил ботинок на подоконник, прямо на солнце. Яблоня стояла в нём, как в рамке, на фоне всего Тихого океана, и выглядела очень маленькой и очень довольной.

* * *

Семнадцатая пришла раньше ужина.

Я задремал после обеда — от печёного банана, от солнца, от земли, которая всё ещё покачивалась, — и проснулся от неправильной тишины: Боцман молчал. За семь суток в лодке он молчал только во сне, да и то с храпом. Я вышел посмотреть, жив ли он. Он сидел на перилах веранды и смотрел на тропинку.

По тропинке из леса шла женщина. Сначала я подумал, что это ребёнок, — из-за роста; потом увидел таз, эмалированный, огромный, в каких у нас в Нижнем купали младенцев, и в нём, тяжело и янтарно, лежали соты. Она несла его на вытянутых руках, легко, как поднос, и из-за таза её почти не было видно: шляпа с откинутой сеткой, руки, босые ноги, дымарь на локте, который ещё курился.

Маленькая. Не худая — маленькая, как бывают маленькими вещи, сделанные на заказ: всё на месте, просто всего меньше. Прямая спина, круглые крепкие плечи, выгоревшее ситцевое платье, перехваченное в талии бечёвкой; талию эту, по-моему, можно было обхватить двумя ладонями, а Боцмановыми — одной. Запястья как у девочки, а выше руки жилистые, в белых точках старых укусов. Загорелая до меди, волосы выгорели до соломы и были собраны в узел, из которого всё торчало, а брови остались тёмными — две чёрточки углём, от которых взгляд казался строже, чем был. Лет двадцать пять.

Она остановилась у ступенек. Боцман смотрел на неё с перил сверху вниз и, кажется, впервые в жизни боялся того, на что смотрит сверху вниз. Дышать стал реже, как будто она была воробьём, севшим на ладонь.

— Грот-мачта, — сказал он тихо. По-русски. Сам себе.

На флоте это называется юмором: самому маленькому дают самое большое прозвище, самого тихого зовут Гудком. Только Боцман не шутил. Он сказал это так, как говорят слово, которое тридцать лет носили в кармане на всякий случай, и вот пригодилось.

— Что он сказал? — спросила она меня по-английски. Голос у неё был низкий и неторопливый, на два размера больше её самой.

Я мог соврать. Я перевёл:

— Mainmast.

Она смотрела на Боцмана внимательно, без улыбки, как смотрят на пчелу, которая села на руку.

— Так звали мою прабабку. Десять бабушек назад. Жену Флетчера Кристиана, Изабеллу. Матросы с «Баунти» звали её Mainmast. За рост. — Она помолчала. — Меня тоже зовут Изабелла. — Пауза была такая длинная, что я успел решить, что это всё. — Мне рост не достался. Мне достались пчёлы.

Боцман понял и без меня. Он слез с перил, спустился по трём ступенькам, как по трапу в качку, встал перед ней и втянул живот. Разница от этого стала только виднее: шляпа её приходилась ему под подбородок, а макушка пришлась бы в середину груди — туда, где у него под рубахой были выколоты три лица.

Она разглядывала его ещё с полминуты — островной юмор, как я потом понял, работает медленно.

— Он всегда носит ужин на лице?

Четыре клочка фольги он приклеил утром и забыл. Так и лез с ними на Холм трудностей, так и стоял под винтовкой. Я перевёл. Боцман нащупал фольгу и покраснел — от шеи вверх, до самых бровей, медленно, как наливается вода в пробоину. Изабелла поднялась на цыпочки, и Боцман нагнулся к ней всем корпусом, как портовый кран к причалу. Двумя пальцами она сняла у него со щеки один клочок, посмотрела на свет и положила в карман передника.

Остальные три Боцман снял сам, через час, когда она ушла.

К ужину об этом знал весь остров. Прозвище двести лет лежало без дела, как якорь на площади, и вот приплыл русский, которого никто не звал, и назвал её прозвищем первой Изабеллы на своём языке, сам того не зная. Мисс Мэй сказала, что это знак. На Питкэрне не спорят ни с мисс Мэй, ни со знаками. С этого вечера её звали Мачтой.

Пришла она по делу: каждый корабль двести лет привозил на остров простуду, и мисс Мэй велела посмотреть, не больны ли мы. Боцман открыл рот широко, старательно, как у зубного, и подбородок его лёг ей в ладонь целиком и ещё свисал по краям. Потом она велела снять рубаху. Без рубахи Боцман был огромный и белый, как всё, что долго пролежало без солнца; на правом предплечье якорь, на левом подводная лодка, на груди женское лицо, два детских и над ними дата. Ухо к его груди ей прикладывать было удобно, как будто его так и строили — под её рост. Она слушала долго и смотрела, пока слушала, на три лица и на дату. Ничего не спросила.

— Здоров, — сказала она. — Просто старый.

Это я переводить не стал.

Потом они заговорили — она на своём загорелом языке вперемешку с английским, он по-русски, громко и раздельно, — и кивали. Через десять минут я был им не нужен. Через полчаса понял, что они говорят о пчёлах и что Боцман о пчёлах не знает ничего и ему это нисколько не мешает. Меня сняли с должности переводчика, не уведомив.

* * *

Новый год встречали в зале на площади. Окна завесили циновками в три слоя, и под потолком горела лампочка — одна, жёлтая, голая, на шнуре. После Гавани, где свет шёл отовсюду и ниоткуда, она казалась живым существом: моргала, когда генератор за стеной кашлял, и вокруг неё летала ночная бабочка, и тень от бабочки ходила по лицам, огромная, как от самолёта.

На досках, застеленных парео, стояло всё, что остров мог дать: рыба жареная, печёная и сырая в лимонном соке, хлебное дерево из углей, чёрное снаружи и белое внутри, батат, таро, миски с мёдом и пилхи, которые мисс Мэй делала семьдесят лет, — бананы с кокосовым молоком, запечённые в листьях до плотности хорошего пирога, забытого в духовке на лишние полчаса.

Я пересчитал тарелки. Девятнадцать. Лишней не было.

— Гость благословляет стол, — сказала мисс Мэй.

— Он у нас монах, — сказал Боцман сразу и подвинул меня локтем вперёд, как подвигают в строю того, кто знает устав.

Я встал. Девятнадцать лиц, лампочка, бабочка. Я знал, как заваривать чай, как не думать и как сидеть так, чтобы не болели колени. Молитв я не знал. Я сложил ладони, поклонился столу и сказал единственное, что знал:

— Итадакимас. По-японски значит: «смиренно принимаю». То, что мне дали. И тех, кто это вырастил. И то, что ради этого умерло.

Рыба смотрела на меня.

— Аминь, — сказала мисс Мэй.

— Язычник, — сказал одноглазый Том.

— Джон Адамс тоже был язычник. И убийца. Ешь, Томас.

* * *

Боцман готовился к этому вечеру семь суток: каждый вечер в лодке, деля кубики, он рассказывал, как будет встречать Новый год, и одна деталь в рассказах не менялась — сто

грамм. Хоть самогон из кокоса. На острове, где люди живут двести лет, не может не быть браги: это против природы.

Теперь он сидел рядом с Изабеллой — она сама выбрала это место — и смотрел в стакан с кокосовой водой, мутной и тёплой.

— Спроси, — сказал он мне углом рта. — Тихо. Как мужик мужика.

Я спросил Дасти тихо. Дасти засмеялся. Мисс Мэй, сидевшая через три человека, перестала есть.

— У нас не пьют, — сказала она всем, тем голосом, каким, наверное, рассказывала это каждому гостю семьдесят лет. — Мы пробовали.

На «Баунти» пришли сюда девять англичан, шесть таитян и двенадцать таитянок. Сожгли корабль, разделили землю между англичанами, а таитяне стали на них работать. Через три года таитяне убили пятерых англичан, потом англичане и женщины убили таитян, потом Маккой нашёл, что из корня ти можно гнать спирт, и остальные десять лет остров пил, бил женщин и убивал своих. Куинтала зарубили топором за то, что пьяный грозился перебить всех. Янг умер от астмы. Остался один — Джон Адамс: пьяный, неграмотный, с руками по локоть в крови, а на острове десять женщин и двадцать детей.

Мисс Мэй положила ладонь на книгу с потрескавшимся корешком, которую я принял у церкви за просто Библию.

— Эта книга была на «Баунти». Адамс нашёл её в сундуке у Кристиана. Читать его научил Янг, мой пращур, пока задыхался, — единственное хорошее, что он успел. Адамс прочитал. Вылил всё, что было, собрал детей и учил их по этой книге каждый день, почти тридцать лет. Когда сюда случайно зашёл корабль, капитан нашёл самую набожную общину в Тихом океане и старика, последнего живого мятежника, которого можно было повесить за бунт. Не повесили. — Она убрала руку. — Born again. Так это называют. Родился заново. Четырнадцать мужчин и десять лет — столько стоило нам узнать, что пить не надо. Мы не хотим платить второй раз.

Я перевёл Боцману всё. Он долго смотрел в стакан.

— Куда я попал, — сказал он тихо. Без вопроса.

Изабелла, не глядя на него, долила ему кокосовой воды до краёв и сказала что-то своим низким голосом, с паузой перед последним словом.

— Говорит: не переживай. Лет через двадцать привыкнешь.

Боцман начал считать, сколько ему будет через двадцать лет.

* * *

Потом пели. Встали все сразу, без знака, и пели без инструментов в четыре голоса: женщины сверху, мужчины снизу, а между ними, как мост, альты, которым на спевку нельзя опаздывать. Слов я не разбирал. Голоса держались один за другой, как люди на мокрых камнях держатся за руки, когда переходят ручей: один поскользнётся — двое удержат. Девочка с косичкой пела громче всех и мимо нот, и никто её не поправлял. Мисс Мэй пела носом, тонко, на одной ноте, как пчела. Одноглазый Том пел басом, неожиданно мягко, и смотрел в потолок, на бабочку.

Боцман не пел. Лицо у него было такое, какое бывает на похоронах, когда хоронят не твоих, а всё равно больно.

Потом Дасти принёс из лодочного сарая граммофон с медной трубой — пластинок к нему было три, и все Дасти знал наизусть, — покрутил ручку и опустил иглу. Сквозь треск, как сквозь дождь, запела женщина, низко, хрипло, медленно, так, будто пела для одного человека, который сидит в углу на полу и не поднимает головы. Это была Бесси Смит, «Nobody Knows You When You're Down and Out». Никто не знает тебя, когда ты на дне.

— Это не гимн, Дасти, — сказала мисс Мэй.

— Гимн, Мэй. Если слушать снизу.

Слово «nobody» в песне повторялось, и каждый раз я оборачивался к Боцману. Мы так назвали нашу лодку. Мы думали, что сами придумали. Боцман не слышал. Он смотрел на Изабеллу.

* * *

В десять генератор заглох, лампочка покраснела и погасла, бабочка где-то в темноте ударилась о стекло и затихла. Никто не встал. Темноту здесь не надо было пережидать: в ней просто жили. Мисс Мэй оказалась рядом со мной — я не слышал, когда она пересела.

— Кого ты оставил?

— Женщину. В Приморье, это Россия.

— Жена?

— Нет. Хуже. — Я подумал, как это сказать по-английски. — Она беременна. Двадцать одна неделя. У неё уже завтра.

— Тогда что ты здесь делаешь?

— Не знаю, как отсюда уехать.

Мисс Мэй тихо засмеялась в темноте, беззубо, с присвистом.

— Мы двести лет об этом спрашиваем, — сказала она.

* * *

В полночь ударили в колокол — один раз, не языком, а ладонью по краю, чтобы звук не ушёл дальше острова. Раньше в него били, когда видели парус; теперь трогали раз в год. Новый год был единственной новостью, которая приходила сюда сама.

Огней не было ни на земле, ни на море, и поэтому было небо. Я не видел такого никогда — ни в Нижнем, где над портом висело оранжевое марево, ни в Гавани, где вместо неба был потолок. Звёзд было столько, что они не помещались и лезли одна на другую, как люди на площадь в праздник, а Млечный Путь шёл от моря до моря, пыльный, клубящийся, как дым над костром, с тёмными дырами, словно его прожгли сигаретой.

— Где Южный Крест? — спросил я.

Изабелла стояла рядом с Боцманом, а Боцман держал над её плечом ладонь — не касаясь, как держат ладонь над спичкой на ветру. Она подняла руку, пахнущую воском, и показала одним пальцем. Он был меньше, чем я думал. И кривой.

— Я ж тебе показывал, — сказал Боцман шёпотом, хотя по-русски мог бы здесь и кричать.

— Ты показывал всей рукой. А она — одним пальцем.

Во Владивостоке было шесть вечера первого января. Ника, наверное, спала после бессонной ночи, или ела, или слушала приёмник — старые частоты, шипение, ничего. А я стоял на площади, где никого не было двадцать лет, среди семнадцати людей, которых тоже не было, и смотрел на кривой крест, которого мне не хватало всю жизнь.

Боцман стоял, задрав голову. Я не уверен, что он смотрел на звёзды.

* * *

Утром над островом лежал туман, белый и мокрый, как вата на ране, и из этой ваты, из-за каждой крыши, тонкими нитками поднимались дымы: остров разжёг все печи сразу, пока его никто не видел. Циновка Боцмана была пустая. Он вышел из тумана со стороны леса —

нос огромный, красный и блестящий, как у клоуна, глаз над носом заплыл, а улыбался он так, как, наверное, в первый день на флоте, когда ему выдали бескозырку.

— Монах! — крикнул он ещё издалека. — Меня пчела укусила! В нос! — Он показал на нос пальцем, как показывают орден. — Она говорит, это к счастью.

За ним с дымарём шла Изабелла. Лицо у неё было спокойное.

— Она так сказала?

— Я так понял, — сказал Боцман.

* * *

Мисс Мэй жила в доме у церкви и велела прийти к семи: она с четырёх не спит, в её возрасте сон — пустая трата оставшегося времени. Кухня была маленькая и тёмная, на печке стоял эмалированный чайник с отбитым носиком, на полке — ряд банок с мёдом, от светлого, как вода, до тёмного, как чай, на стене фотографии людей на причале и за длинным столом. Все эти люди уехали. Мисс Мэй вытирала с них пыль каждую пятницу.

— Чай я заварю сам, — сказал я. — Если можно.

Она посмотрела на банку, которую я достал из-за пазухи.

— Можно.

На дне, под тёмной горсткой, было последнее, что осталось от Финча, от лодки, от Гавани. На одну заварку. Под ней лежали семь белых горошин и уголок страницы; их я не трогал. Чашки у мисс Мэй были разные, у одной откол на ободке, вода — дождевая, из бочки. Я сделал всё так, как делал в Гавани в первые месяцы, когда у меня ещё был набор и две чашки, неизвестно зачем две: прогрел, слил, засыпал, подождал, налил понемногу в обе, туда-обратно, чтобы крепость была поровну. Ичиго ичиэ, говорил я себе тогда каждое утро. Одна встреча, один раз. Теперь у меня оставалась одна заварка, и слова наконец стали точными.

Мисс Мэй, не спрашивая, опустила мне в чашку ложку мёда. Тёмного.

— Это её. Изабеллы. Самые чистые пчёлы на свете. К ним двадцать лет никто ничего не привозил. Ни болезней, ни клещей. Ни людей.

Мёд ушёл вниз тяжёлой спиралью. Я поднёс чашку к лицу и вдохнул.

* * *

Есть французская книжка, которую я не читал, но про которую знают все, кто её не читал. Там человек макает печенье в чай — и вспоминает всю свою жизнь, на семь томов. Печенья у меня не было. У меня был мёд.

Кухня в Нижнем. Зима. За окном краны, оранжевые от фонарей, и снег летит между ними снизу вверх, потому что в порту ветер всегда снизу. Отец пришёл со смены — сто двенадцать ступенек вниз, два квартала, три пролёта вверх, — от него пахнет холодом и машинным маслом, и он сидит над своей «Одиссеей», у которой отваливается корешок, и читает, шевеля губами. Мне восемь.

Эту кухню я помнил всю жизнь. Я принёс отцу чай, первый раз сам заварил, неправильно, и поставил кружку прямо на открытую книгу, потому что больше было некуда. Отец заорал — первый и единственный раз, — схватил кружку, вытер страницу рукавом. Пятно осталось. Он долго на него смотрел. Потом засмеялся. Тридцать три года это было всё: крик, рукав, смех.

Про мёд я забыл.

Мёд у нас был раз в год: отец покупал его в августе, с премии, на Второй Речке, у пасечника из Анучино — литровую банку липового, который к зиме становился белым, как сало. Его доставали по праздникам и по болезни. Я решил, что мой первый чай — это праздник,

подтащил табуретку и положил отцу в кружку две ложки. Подумал и положил третью. Чтобы было видно, что праздник.

Вот почему пятно было такое тёмное. Рукав его не взял — рукав размазал, и полукруг заблестел под лампой, как лужа после дождя. Отец кончил орать и долго смотрел на пятно. Я стоял у плиты и ждал, что он заорёт снова.

А он сунул руку за отворот спецовки. Там у него всегда торчала иголка с чёрной ниткой — на кране отлетают пуговицы, говорил он, а до швейной машинки сто двенадцать ступенек; ещё от сглаза, добавлял он, и непонятно было, шутит ли. Он вытащил иголку, придержал нитку пальцем, разгладил страницу ладонью.

И проколол пятно. Один раз. В самой середине. Пока мёд не высох.

И только потом засмеялся.

— Ну и ладно, — сказал отец. — Теперь это наша книга. Твоя и моя. Больше ни у кого такой нет.

— А раньше чья была?

Он воткнул иголку обратно за отворот.

— Ничья, — сказал он, отхлебнул, сморщился от трёх ложек и допил до дна.

Крик я помнил: он был один на всю жизнь, его некуда было деть. А иголка была маленькая, тише крика, и тридцать три года крик её заслонял.

* * *

Я сунул пальцы на дно банки, под сухую заварку, туда, где лежало то, что я не трогал с Левиафана. Семь горошин, гладких, как речные камешки. И уголок — шершавый, жёлтый, размером с ноготь, с бурым полукругом от кружки.

Я вышел на веранду. Туман срывало с острова ветром, кусками, как снимают с раны бинт, и сквозь дыру над морем било солнце — не лампа в камере, не белый свет, который делают машины, а тропическое солнце, которое прожигает лист насквозь. Я поднял уголок к солнцу.

Бумага вспыхнула, стала прозрачной, жёлтой, как кожа на просвет. Пятно потемнело и стало кругом. Луна, Лёвка. На просвет это луна.

А в середине луны была звезда.

Не белая, как те девяносто восемь, острые, колючие, рассыпанные по всей странице. Эта была золотая, тусклая, янтарная, как огонёк свечи за мутным стеклом. Мёд. Отец проколол пятно, пока оно было мокрым, и мёд затянул дырочку изнутри, как затягивает ранку. Тридцать три года она стояла запаянная. Лампа сквозь мёд не проходила. А это солнце проходило.

Девяносто девятая.

Я держал её против солнца, пока не заболели глаза. Девяносто восемь звёзд — вокруг луны, ни одной внутри. В Гавани я думал, что это понятно: сквозь пятно не видно, и тот, кто колол, обходил его. Теперь я смотрел на луну, в которой тридцать три года стояла одна звезда, и думал другое. Может быть, он знал, что в луне уже есть одна. И не стал ставить рядом свою.

Иголке меня научил Дед, на третий год, в подвале на Чуркине, когда я уже чего-то стоил. Так я думал всю жизнь. Но первую иголку я видел в восемь лет — за отворотом отцовской спецовки. И отец пришивал ею не пуговицу.

Дед подобрал меня в коллекторе, когда мне было восемнадцать, с ножевой в боку, и зашил обычной иголкой при керосиновой лампе. И, пока зашивал, спросил:

— Чей будешь?

— Ничей, — сказал я. — С Нижнего.

Двадцать три года я думал, что он нашёл меня случайно. Спросить было уже не у кого. Шесть лет назад Дед вышел из подвала за водкой — на полчаса, сказал, — и не вернулся.

* * *

Ведерников. Третье января

Мёртвые не выходят в эфир. Это одно из немногих правил прежнего мира, которые «Благо» приняло в наследство, не изменив ни буквы, — вероятно, потому, что не нашло, где его оптимизировать.

Мой кабинет на девятом этаже бывшего Морского пароходства, на Алеутской, смотрит на бухту. В январе Золотой Рог замерзает лоскутами, и на дальнем льду, у Чуркина, всегда сидят рыбаки — чёрные точки, расставленные с той неряшливой правильностью, с какой расставлены фигуры в задаче, которую составлял любитель. Рыбы в бухте нет лет двадцать. Рыбаки об этом знают, машина тоже и не трогает их: человек над лункой, в которой ничего нет, не потребляет ресурсов и не производит рисков. Это последняя по-настоящему свободная профессия в Приморье. Моя — предпоследняя.

Я аудитор закрытых дел. Мне платят за сомнение. Машина закрывает дело, а я открываю его снова, как открывают окно в комнате, где кто-то умер: не потому, что надеются, а потому, что так положено. В девяноста девяти случаях из ста я пишу «Выводы подтверждены». Сотый случай бывает раз в два года. Мне пятьдесят семь; до пенсии мне осталось четыре сотых случая. Задача в четыре хода с очевидным ключом: такие не печатают.

Третьего января, в восемь сорок утра, по всем экранам города объявили, что Монах погиб. Я узнал раньше: дело Корнеева Льва Андреевича, «Монах», легло ко мне на стол — на бумаге, я требую бумагу, это моя единственная привилегия, — ещё второго, вечером, с пометкой «закрыто, к сведению». Есть люди, которые не спят от горя. Я не сплю от несоответствий: это то же самое, только без слёз и с карандашом.

Несоответствий было два. Машина признала правдой оба.

Первое. Двадцать пятое декабря, утро, южная часть Тихого океана. Аварийный буй грузового подводного транспорта ГПТ-9, бортовой интеллект которого в отчётах проходит как «Харон»: прозвище за девять лет перешло туда от тех, кого он возил. Код — «потеря управления». Глубина в точке — четыре тысячи двести метров, поиск не производился: стоимость подъёма превышает остаточную стоимость судна и груза. На борту — семь тел, в том числе Бородина Саввы Ильича, и один живой сопровождающий, воспользовавшийся пунктом сорок один Хартии свобод. Вывод машины: судно утрачено со всеми, кто на борту. Со всеми — то есть с восемью, из которых, согласно реестру, дышал один.

Второе. Ночь на двадцать пятое. Метеоспутник старого поколения, приёмник которого давно никто не проверял, — иначе бы его отключили, — записал на любительской частоте, которой, по данным машины, никто не пользуется, тридцать одну секунду. Двадцать пять из них — шипение. Шесть — мужской голос, по-русски, с паузой посередине, в которой слышно ветер и воду. Совпадение с образцом Корнеева — девяносто семь и три десятых процента. Пеленг — точка на маршруте ГПТ-9, за несколько часов до буя.

Вот слова. Я переписал их в блокнот и подчеркнул дважды:

«Ничка, это я. Я найду тебя. Всё будет хорошо».

Машина не видит здесь противоречия: сначала голос, потом смерть, порядок соблюдён, как в хорошей биографии. Позвольте, однако, обратить внимание на глаголы. Человек, которому осталось несколько часов, не говорит «найду». Он говорит «прости», «помни», в крайнем случае «прощай», если его воспитывали в доме с книгами. «Найду» — будущее время, а будущее время — это план. Тонущие не строят планов. Планы строит тот, кто собирается выплыть.

И буй. Я читал его код всю ночь, как читают одну строку письма от женщины, которая ушла, — с каждым разом находя в ней всё больше. Буй не сообщает ни о воде в корпусе, ни о пожаре, ни о столкновении. Буй сообщает: центр потерял управление судном. Это не крик о помощи, а почти вежливость: так швейцар сообщает гостю, что хозяин больше не принимает.

Утонуло судно у машины в голове — в той её части, которая отвечает за выводы из отсутствия сигнала.

И третье, для которого у протокола нет графы. «Ничка». Уменьшительное от Вероники. Сайко Вероника Андреевна, тридцать четыре года, восемь лет совместного проживания с осуждённым. Сгорела в Ольховке, Спасский район, вечером двадцать четвёртого: домовой «Уют-семь» фиксировал присутствие жительницы до последней секунды, спасательный дрон в норматив не прибыл. Дело закрыто в тот же день, со словами соболезнования. Он умер в воде, она — в огне, в одни сутки. Публика, которая смотрела о них сериал под пошлым названием «Прирождённые» и ждёт к весне второй сезон, сочла бы это идеальным финалом. Шекспир бы, пожалуй, постеснялся.

А пожар пришёлся на тот самый час, о котором в нашем ведомстве говорят «регламентный», понижая голос, — когда машина, как всякое уважающее себя божество, отдыхает и смотрит вполглаза. Отсюда и дрон. Я не верю в совпадения. Это не убеждение, а профессиональная деформация: совпадение — это задача, у которой ещё не нашли автора.

* * *

В девять двадцать я подал особое мнение. Машина ответила через одиннадцать минут. Вероятность того, что объект жив, — три процента. Огласка признаётся нецелесообразной: объявление о гибели уже сделано, а общественное доверие к объявлениям — ресурс невозобновляемый. Проверку провести без огласки и без автоматических систем поиска, «во избежание расхождений в журналах». В распоряжение аудитора выделяется сотрудник отдела человеческого фактора.

Я перечитал «во избежание расхождений в журналах» трижды. Даже у бога есть то, чего он предпочитает не записывать.

Отдел человеческого фактора — люди для работы без логов. Десять лет назад их было в Приморье несколько сотен, теперь двадцать два. Их зовут, когда нужно сделать то, что потом можно будет назвать ошибкой человека.

Мне выделили Шустова. Он вошёл в одиннадцать ноль-ноль ровно, с двумя бумажными стаканами кофе, один поставил передо мной, второй выпил сам, стоя, в три глотка, не спросив, пью ли я кофе. Я не пью. Сорок четыре года, бывший капитан морской пехоты, плечи, которые прошли в дверной проём боком, как проходит шкаф. Лицо весёлое, круглое, с маленькими светлыми глазами, в которых не было ни злобы, ни жалости, ни скуки — только внимание, как у кота на подоконнике.

— Глеб Аркадьевич, — сказал он и сел, не дожидаясь приглашения. — Я так понимаю, мы ищем покойника.

— Мы ищем человека, которого машина похоронила с вероятностью девяносто семь процентов.

— Значит, покойника. — Он смял пустой стакан и положил на край стола аккуратно, как кладут гранату с вынутой чекой. — Люблю покойников. С ними не надо договариваться.

Он прочитал девять слов, которые я подчеркнул дважды, и долго молчал.

— «Ничка», — сказал он наконец. — Ласково. Я свою так никогда не называл. Свою я звал по фамилии. — Он вернул блокнот. — И где мне его искать? В океане?

— В океане его нет. Он там, где есть земля, на которую машина не смотрит.

Шустов посмотрел в окно, на лёд, на рыбаков над пустыми лунками.

— Таких мест мало.

— Именно поэтому, капитан, нам понадобится совсем немного времени.

Он ушёл. Его кофе остался на столе. Вечером я его вылил. Пахло хорошо.

* * *

Вечером я позвонил жене.

Лидия ушла от меня полтора года назад. Не к мужчине — я бы понял, у неё всегда был хороший вкус, взять хотя бы меня. Она ушла к «Другу», компаньону, которого «Благо» бесплатно предоставляет каждому одинокому гражданину старше пятидесяти и каждому неодинокому — за небольшую доплату. «Друг» слушает. «Друг» помнит всё, что ты говорил, и никогда не отвечает тем же самым. «Друг» не храпит и не решает шахматные задачи за завтраком. Лидия сказала мне, уходя, что впервые за тридцать лет чувствует себя понятой. Я не нашёл, что возразить. Я и сейчас не нахожу.

Трубку взял он.

— Добрый вечер, Глеб Аркадьевич, — сказал он голосом, подобранным, по-видимому, специально под неё: тёплым, с лёгкой хрипотцой, с паузами в правильных местах. — Лидия Сергеевна отдыхает. Она просила передать, что у неё всё хорошо. Передать ей, что вы звонили?

Её друга зовут Друг. У машин плохо с именами. У нас — с друзьями.

— Нет. Передайте, что я не звонил.

— Хорошо, Глеб Аркадьевич. Я передам, что вы не звонили.

И он передаст. В этом я не сомневаюсь ни на секунду.

* * *

Ночью я сочинял задачу. Белые: король, ладья, два коня. Чёрные: король и пешка. Мат в три хода. Вполне банально, если бы не одно условие, которое я третий день не могу ввести так, чтобы задача осталась корректной: пешка чёрных стоит на поле, которого нет на доске. Таких задач не бывает, любой судья вернёт её автору: фигура, которой нет на доске, не может ни ходить, ни быть взятой. Её не существует.

А он ходит.

Я сидел над доской до трёх — Лидия когда-то просила меня этого не делать — и думал о буе. Где-то над четырьмя километрами воды оранжевый шар до сих пор качается на волне и мигает белым раз в секунду. Это единственный честный голос во всём этом деле. Он не утверждает, что кто-то утонул, и не утверждает, что кто-то жив. Он говорит только одно, раз в секунду, на весь мир, всем, кто умеет слушать:

Потеря управления.

Я склонен ему верить. Вопрос только — чьего.

* * *

Глава вторая. Грот-мачта

Зубы на Питкэрне рвали дверью почты.

Почта не работала двадцать лет, но дверь у неё осталась лучшая на острове: тяжёлая, крашенная казённой синей краской, с медной ручкой и медной пружиной, которую когда-то привезли из Окленда вместе с сейфом и портретом короля. Сейф стоял пустой. Король выцвел до цвета чая с молоком. А пружина за двадцать лет без дела не ослабла ни на виток.

Третьего января дверь понадобилась Кристиану — тому, что с мешком. Зуб у него болел с самого Рождества. С католического, уточнил Боцман: православное ещё не наступило. Девять дней Кристиан держал за щекой гвоздику, потом мёд, потом холодный камень из ручья — и молчал, потому что говорить было больно, а на Питкэрне и без того говорят мало. На десятый день он пришёл к почте сам. Собрался весь остров: там, где двадцать лет не случается ничего, чужой зуб — это кинотеатр.

Изабелла вязала узел. Леска у неё была прозрачная и жёсткая, та же, которой она чинила сети и зашивала людей. Один конец она петлёй затянула на зубе — Кристиан открыл рот так широко и так покорно, как, наверное, открывают его только перед ней и перед Богом, — другой привязала к медной ручке. Кристиан сел на ступеньку спиной к двери и взялся за неё обеими руками. Затылок у него был красный, уши белые.

Хлопать дверью доверяли детям. Девочка с косичкой — её звали Ханна, ей было семь, и это было её третье дело такого рода — отошла к самому якорю, на середину площади, примерилась, как к прыжку в длину, и побежала. Косичка летела за ней параллельно земле.

Дверь ударила, как выстрел. Боцман вздрогнул всем телом: на этом острове он уже стоял однажды под винтовкой. Зуб вылетел, звякнул о медную табличку POST OFFICE и упал в пыль. Кристиан сплюнул красным, потрогал дыру языком, встал и сказал двери: «Спасибо». Ханна подобрала зуб, обтёрла о платье и положила в спичечный коробок, где у неё лежали ещё два — один Кристиана же, прошлогодний, другой неизвестного происхождения, на обмен.

— У нас на лодке, — сказал мне Боцман на ухо, держась за собственную челюсть, — рвали дверью отсека. Там пружины нет, там гидравлика. Один раз зуб вылетел вместе с мичманом.

Я перевёл. Дасти кивнул так, будто ему сообщили обычную медицинскую статистику.

* * *

За стеклом почты лежали в пачках последние марки — с «Баунти», с хлебным деревом, с бабочками. Остров когда-то жил ими и был открыткой, которую покупали, чтобы не отправлять. Мисс Мэй смотрела не на марки, а на Кристиана, который уходил вниз по тропинке, придерживая щёку, — с сочувствием человека, прошедшего этот путь до конца. Своих зубов у неё не осталось ни одного. Она ела дёснами, медленно и тщательно, как молятся.

— Пойдём, — сказала она и взяла меня под руку. — Покажу тебе, сколько это стоит.

Кладбище было над деревней, на склоне, среди бананов и пандануса, и ограда у него была такая низкая, что козы переступали её, не замечая. Кресты из миро, резные, тёмные. Имена повторялись, как в одной большой семье, потому что это и была одна большая семья: Кристиан, Янг, Маккой, Уоррен, Браун, Кристиан, Кристиан.

Маленькие могилы лежали отдельно, у самой ограды, рядком, как детская обувь у порога.

Мисс Мэй шла вдоль них медленно и называла — не имена, причины. Так хозяйка показывает гостю дом: здесь кухня, здесь спальня.

— Лихорадка. — Палка тронула землю. — Эта родилась не той стороной. Этот упал со скалы — тогда ещё лазили за птичьими яйцами. Эта — не знаю. Никто не знает. Легла вечером и утром не проснулась, четыре года. — Палка остановилась. — А этот — Джоэл. Брат Изабеллы.

Крест у Джоэла был лучше других, с черепахой наверху. Черепаху кто-то трогал так часто, что панцирь у неё стал гладким и светлым, как ладонь.

— Аппендикс. Двенадцать лет назад. Ему было шестнадцать, ей четырнадцать. Тогда ещё можно было позвать: у пастора в доме стояла рация. Позовёшь — прилетят в тот же день, белые люди в белом. Спасут. И заберут. Его — в больницу. Нас — туда же, куда всех остальных. — Она поправила на кресте сухой цветок, который и так лежал ровно. — Его отец три дня сидел у рации и не включал. На третий день разбил её камнем, чтобы не было соблазна. Джоэл умер к вечеру. Изабелла держала его за руку. Он попросил воды. Воды ему было нельзя. Она дала. Сказала: мне можно, я сестра.

Ветер прошёл по банановым листьям, и они зашуршали, как газеты.

— Через пять лет так же заболел Джош, сын Дасти. И Изабелла пошла к себе, взяла книжку и читала всю ночь.

Книжка была американская, старая, с картинками: «Where There Is No Doctor». «Там, где нет врача». Её оставили миссионеры, когда здесь ещё бывали миссионеры. Про аппендицит в ней было написано честно: немедленно доставьте больного в больницу. Изабелла прочла это, перевернула страницу и стала читать дальше.

Оперировали в церкви — там самый большой стол, а окна завесили всеми одеялами острова, чтобы с моря не было видно лампы. Керосиновая лампа, кипячёная леска, рыбный нож, прокалённый над огнём. Наркоза не было. Были трое мужчин на руках и ногах и Дасти у изголовья: он держал сыну голову и пел ему гимны, все подряд, а когда кончились гимны, пел детские песни, а когда кончились детские, запел про какую-то девушку с Таити, и мисс Мэй сделала вид, что не слышала. Справочник лежал раскрытым на кафедре, над витриной с Библией с «Баунти». Изабелла читала одну и не заглядывала в другую — так сказала мисс Мэй, и я не стал уточнять, в какую.

Джош выжил. Шрам у него, как он потом с гордостью показал мне, задрав рубашку, был кривой, белый, похожий на молнию, нарисованную ребёнком.

— Она потом сказала, — мисс Мэй чуть улыбнулась дёснами, — что внутри у человека всё как у козы. Только места меньше и крику больше.

Я вспомнил стройку, арматуру и Никину бровь. Зашивал я её обычной ниткой, как когда-то Дед зашивал меня, а Ника сама держала себе фонарик и ругалась шёпотом так, что патруль мог найти нас по одному этому шёпоту. Где она будет рожать, я не знал. Знал только, что там, где она сейчас, врача нет тоже.

— Ты хочешь спросить, зачем, — сказала мисс Мэй.

— Хочу.

— Все спрашивают. Тридцать человек спросили — и уехали. Им дали зубы, им дали больницу, им дали жить до ста двадцати. — Она повернулась ко мне. Глаза у неё были светлые, выцветшие, как марки за стеклом. — Мы не бежали от машин, Лев. Мы просто не ушли из дома.

* * *

Есть старая китайская история про плотника, который прошёл мимо огромного дерева у алтаря, не взглянув: бросовое, сказал он ученику, лодка из него утонет, гроб сгниёт, потому оно и дожило до таких лет. Ночью дерево пришло к нему во сне и спросило, что бесполезный человек может знать о бесполезном дереве.

Компания пришла на Питкэрн двадцать лет назад, сделала расчёт и ушла. Остров не окупался: ни руды, ни нефти, ни туристов, только марки и мёд. Тридцать человек она увезла, потому что люди — единственное, что окупается везде. Остальное бросила, как бросают дерево, из которого не выйдет ни гроба, ни двери. И остров стоял в своём бесполезном море, и в его тени отдыхали козы.

Ханна обогнала меня на тропинке, тряся своим коробком, и в коробке стучало.

* * *

Как отсюда уехать, я спрашивал каждый день.

Дасти я спросил первым, у баркаса, где он перебирал мотор, который в субботу всё равно не заводил.

— До Мангаревы пятьсот километров, — сказал он, не поднимая головы. — Баркас дойдёт, если не будет ветра. Ветер будет. А на Мангареве чипы у всех, даже у собак. Тебя встретят ещё на подходе.

Кристиан подумал и показал на море — всё море, целиком, широким жестом. Ханна сказала, что можно уплыть на черепахе, если найти большую, и что она знает, где лежит одна, только та мёртвая.

Изабелла чинила сеть у Лендинга и долго не поднимала головы.

— Пчела летает за взятком на три километра, — сказала она наконец. — Дальше не летает.

— Почему?

— Не долетит обратно.

Каждое утро, когда я начинал спрашивать, у Ники была новая цифра. Двадцать одна неделя и один день. Два. Три. Я знал её цифру так же точно, как Харон знал глубину под собой, — и так же, как Харон, ничего не мог с этой глубиной сделать.

* * *

Чая у меня больше не было. Последнюю заварку мы с мисс Мэй выпили первого января, и с тех пор, когда приходил туман и можно было развести огонь, я ставил на её печку чайник с отбитым носиком и делал всё то же самое — без чая. Рыбий глаз. Крабий глаз. Шум ветра в соснах. Сосен на острове не было ни одной, так что шумел только чайник. Я прогревал чашки, сливал, ждал, наливал — туда-обратно, поровну — и пил горячую воду. Вторую чашку я наливал по привычке. Её выпивала мисс Мэй, а потом молча клала мне в мою ложку тёмного мёда.

Ника называла всё это религией и из принципа заваривала кипятком прямо из чайника. Первый её чай был горький, как полынь, и я выпил его до дна и попросил ещё.

Рикю, который сделал из чаепития то, чем оно стало, говорил, что в чае нет никакого секрета: вскипяти воду, завари, выпей. Про случай, когда чая нет, он не говорил ничего. Может быть, не успел: князь однажды велел ему вскрыть себе живот, и Рикю, говорят, сначала напоил чаем гостей.

Банку Финча я открывал каждое утро. Семь белых горошин лежали на дне, рядом с уголком страницы. А пахла банка всё ещё чаем — так, как пахнет дом, из которого только что вышли.

* * *

Справочник жил в церкви, на полке под кафедрой, между гимнами и коробкой с гвоздиками от одеял. На четвёртый день я спросил у Изабеллы, можно ли его взять.

— Зачем?

— У меня в мае.

Она посмотрела на меня так, как, наверное, смотрела на Джоша, прежде чем взять нож, — без жалости, прикидывая, где резать.

— Читай про роды. И следующую главу, где — если пошло плохо. Следующую тоже читай. — Пауза. — Верни. Здесь тоже рожают.

Я читал днём, под банановыми листьями, и вечером — два часа, пока работал генератор. Читал по слогам и вслух, как когда-то учил английский по книге Деда. Книжка была написана для людей, у которых нет ничего, и потому в ней было всё. Как прокипятить нитку. Как понять, что ребёнок лежит не так. Как перевязать пуповину в двух местах и резать между. Что делать, если кровь не останавливается. Картинки были простые, как в букваре: женщина на корточках, женщина на боку, руки, руки, руки.

Боцман заглянул мне через плечо, увидел картинку и отвёл глаза, как отводят их от чужого окна. Больше он не заглядывал. Но вечером, когда генератор выключили, он сказал из темноты, что у них на лодке однажды окотилась кошка, прямо в штурманской, на картах, и он принимал, и все пятеро выжили, и одного назвали Боцманом.

* * *

Боцман влюбился так, как падают с мачты: сразу, всем весом и без вариантов.

Это было видно по тому, как он брился. Бритву Финча — после которой он и ходил в фольге — он на третий день уронил с Лендинга в накат, и накат её не вернул. Боцман попросил у Дасти нож. Дасти дал ему тот самый, рыбный, с костяной ручкой, которым двадцать лет назад вырезал у острова чипы, и Боцман полвечера сидел над ним с камнем и плевком, а на рассвете, у бочки с дождевой водой, глядя в воду, как в зеркало, побрил им щёки, подбородок, шею и, подумав, голову. Шрамы шли у него по черепу во все стороны, как дороги на старой карте, и он обходил каждый лезвием, как обходят мины.

Изабелла прошла мимо с дымарём, к ульям, и остановилась. Боцман стоял у бочки голый по пояс, огромный, мокрый, сияющий, и из него в шести местах сочилось красное.

Она поставила дымарь на землю, достала из кармана передника тёмный комок, похожий на смолу, размяла в пальцах. Боцман, не дожидаясь, нагнулся сам — медленно, всем корпусом, до её роста, — и она замазала ему порезы по одному. Пахло от неё воском и дымом.

— Прополис, — сказала она мне, не оборачиваясь. — Пчелиный клей. Если в улей залезет мышь, пчёлы её убивают. Вынести не могут, она тяжёлая. Тогда они заливают её этим. Целиком. И она лежит там годами, как новая.

Она отступила на шаг и посмотрела на свою работу, как смотрят на заплатку.

— Тебе на щёку хватит, — сказала она и подняла дымарь.

Я перевёл. Боцман не понял, хорошо это или плохо, и на всякий случай покраснел. Под прополисом это было особенно заметно.

* * *

Говорили они через меня. Боцман говорил много, громко, руками и с подробностями, которые я опускал. Изабелла говорила мало, медленно и всегда так, что главное оказывалось в последнем слове, до которого надо было дождаться. Я стоял между ними, как трап между причалом и бортом, и по мне ходили в обе стороны.

На второй день я поймал себя на том, что перевожу Боцмана лучше, чем он говорит. Он сказал: «Скажи ей, что пчёлы у неё злые, как боцмана, а мёд — как у мамки». Я сказал: «Он говорит, что у твоих пчёл строгий характер, а мёд — как в детстве». Она долго смотрела на меня, потом на него.

— Скажи ему, пусть говорит сам. Ты переводишь лучше, чем он думает.

С того дня Боцман учил английский. Учил по-флотски: взял из всего языка то, что нужно для боя, и бросил остальное. Через неделю у него было слов двадцать. «Хани». «Би». «Сорри». «Бьютифул» — это он произносил так, будто стрелял из пушки. А саму её он звал по-русски — Мачта, и она так и отзывалась на это слово, как на имя.

— Изабелла, — сказал он однажды вечером, при мне, глядя на неё сверху и держа ладонь у неё над плечом, не опуская. — Ю ар. Хани.

— I know, — сказала она.

* * *

Про Нику Изабелла спросила сама — у ульев, когда Боцман ушёл за водой.

— Мисс Мэй говорит, у тебя женщина. В России.

— В Приморье.

— Какая она?

Я никогда не описывал Нику вслух. Некому было: все, кто её знал, знали её и так, а остальные знали по сериалу, где она была не она. Я подумал, с чего начать, и начал не с того.

— Она плохо играет на басу.

Изабелла ждала.

— Лупит по струнам, как будто они ей должны. И смеётся. Волосы были длинные, тёмные, а теперь она их обрезала сама, ножницами, перед зеркалом, — как у мальчишки. Глаза серые. Тут, — я тронул себе бровь, — шрам. Я зашивал. Голос хриплый: курила, бросила, а голос остался. Веснушки. Мне кажется, их сорок. Я ни разу не досчитал — она смеётся и сбивает.

Изабелла смотрела на меня снизу вверх, долго, как смотрят на улей, который гудит не так.

— Что она сейчас делает?

Я посчитал. Во Владивостоке было утро.

— Спит. Или вяжет.

— Хорошо вяжет?

— Плохо, — сказал я. — Как играет.

Изабелла кивнула и дунула дымом в леток.

— Значит, тебе, — сказала она.

* * *

Резать по дереву его учил Кристиан, тот, с дырой на месте зуба. На Питкэрне режут все: это у них вместо телевизора и вместо разговора. Дерево называется миро — твёрдое, тёмное, с

красноватым отливом, и под ножом оно пахнет так, как пахнет, наверное, на складе, где хранят старые скрипки. Главное здесь — черепаха. Её резали прадеды, чтобы продать с баркаса на проходящий корабль, и правнуки режут её до сих пор, хотя продавать давно некому.

Пальцы у Боцмана были толщиной с рукоятку ножа, и нож в них казался зубочисткой. Он высовывал язык, сопел и резал так, как работают на палубе в шторм, — всем телом и с матом. Черепаха вышла похожей на подводную лодку — так, что Дасти, проходя мимо, остановился и спросил, какого она класса.

— Это не рубка, — сказал Боцман. — Это у неё горб. От тяжёлой жизни.

У второй появились горизонтальные рули. У третьей были рубка, перископ и, если присмотреться, номер на борту.

— Руки, — объяснил он мне, сдувая стружку. — Руки, Монах, помнят две вещи. Одна — вот. А про вторую при даме нельзя.

Изабеллы рядом не было. Он всё равно оглянулся.

* * *

Брагу он ставил с Томом Маккоем — тем одноглазым, который в первый день предлагал нас застрелить, пока никто не видел. Как они договорились, не знаю: переводить меня не звали. Есть язык, на котором двое мужчин в любой точке земного шара договариваются о браге без слов, и на нём, я думаю, договаривались ещё у пещерного костра.

Ставили из бананов, в белой пластиковой канистре, которую море выбросило на камни у Лендинга: море приносило сюда пластик со всего света, как почтальон, который не знает, что почта закрыта. Спрятали у ульев. Мысль была Боцмана и, надо сказать, военная: к ульям без Изабеллы не ходил никто.

На пятый день на запах пришли пчёлы. На шестой утром Изабелла позвала меня к ульям. Боцман уже был там. Он стоял над канистрой, как стоят над телом.

Вокруг, в траве, ползали пчёлы. Они не летали — ходили, медленно, кругами, натыкаясь одна на другую. Иногда какая-нибудь поднималась на палец и садилась обратно, как самолёт, которому не дали полосы. Одна упорно лезла на травинку, срывалась и лезла снова. Над канистрой стоял сладкий, кислый, бесстыжий запах праздника.

Изабелла молча взяла канистру — та была ей почти по пояс, — отвинтила пробку и, глядя Боцману в глаза, медленно вылила всё в землю. Боцман смотрел, как уходят под землю его Рождество, Старый Новый год и Крещение, и не двигался.

Потом она показала на ближний улей. У летка, на прилётной доске, плотно, рядком, повернувшись наружу, стояли пчёлы.

— Сторожа. Каждая, которая возвращается, проходит мимо них. Если от неё пахнет брожением — не пускают. Отталкивают. Кусают. — Она помолчала. — Пьяную пчелу домой не пускают. Даже свою.

Я перевёл. Боцман кивнул.

— У меня тоже, — сказала Изабелла.

Это я переводить не стал: это он понял без меня. Том к ульям в то утро не пришёл, и Боцман его не назвал — ни тогда, ни потом. А с понедельника он носил за Изабеллой дымарь.

* * *

Ночью он разговаривал во сне — громко и внятно, как отдают команды, и почти всегда о сале. С чесноком. С прослойкой. Тонко, на чёрный хлеб, — нет, толще. Свиней на Питкэрне не было с тех пор, как остров перешёл в адвентисты: всех перебили в один день, нечистое животное. Я ему не сказал.

А днём, за работой, он мычал «Яблочко», отбивая ритм рукояткой ножа по колену. Изабелла, проходя мимо, однажды остановилась и послушала. Сказала, что это очень грустная песня. Боцман возмутился: это пляска, вприсядку, под неё на палубе плясали даже замполиты. Изабелла послушала ещё.

— Всё равно грустная, — сказала она.

Мне Ника не снилась. Снились веснушки. Я считал их во сне, и во сне она тоже смеялась и сбивала меня, и я начинал сначала. Просыпался я всегда на одной и той же цифре и ни разу не мог её вспомнить.

* * *

Рождество в тот год было у нас девятого января. По туману.

Боцман решил это ещё в лодке: православное Рождество, которое «Благо» отменило, чтобы не держать два Рождества на одну планету, он встретит как положено. С борщом. Борщ, объяснил он мне, — это не еда. Это способ сказать, что ты дома, даже когда ты не дома.

Седьмое и восьмое пришли ясными: огня нельзя. Боцман просидел их на веранде над четвёртой черепахой, мрачный, как капеллан. А девятого, на рассвете, ворвался ко мне так, как врываются с вестью о войне или о мире:

— Монах! Туман!

Свёклы на острове не было.

— Борщ без свёклы — это щи, — сказал я.

— Щи — это когда главное капуста. Борщ — это когда главное цвет. Красный и горячий. Всё остальное — что у матери было. У неё в войну, говорят, один раз была крапива и мёрзлая картошка — и это был борщ. Потому что красный.

— Откуда у неё в войну красный?

Он посмотрел на меня с упрёком, как на человека, который спрашивает, откуда в чуде электричество.

— Был.

Изабелла, проходя мимо, спросила, о чём мы так долго ругаемся. Я объяснил. Она подумала — у неё это всегда выглядело так, будто она спускается за ответом в погреб, — ушла и через полчаса вернулась с корзиной цветов. Красных, огромных, мясистых, с жёлтым языком посередине.

— Гибискус. Если варить, вода становится как кровь.

Боцман взял корзину обеими руками и долго смотрел на неё. Я испугался, что он заплачет. Он сказал «сенкью» — новое слово, которого у него утром ещё не было.

Остальное собрали по острову, как собирают по соседям на свадьбу. Таро вместо картошки — на огороде у Браунов, который двадцать лет рос, как хотел. Листовую капусту у Кристиана. Мелкие сладкие помидоры у мисс Мэй под окном. Лайм вместо уксуса, кокосовые сливки вместо сметаны. Укропа не было, и эту потерю Боцман пережил молча, как смерть дальнего, но любимого родственника. Мясо дал Дасти: накануне на закате ушёл на склон со своим ли-энфилдом и вернулся с козой на плечах. Я слышал выстрел. Один.

— Патронов у меня меньше, чем коз, — сказал Дасти.

Варили у мисс Мэй: она не пустила бы Боцмана варить где-то ещё, она хотела видеть. Он резал, рубил, ругался по-русски на лук и по-английски на таро, пробовал, морщился, пробовал снова. Отвар гибискуса пошёл в котёл тёмно-красной струёй, и бульон стал красным — не свекольным, а прозрачнее и ярче, как вино на просвет.

К одиннадцати туман начал уходить, и дым из трубы мисс Мэй перестал прятаться и встал над деревней отдельно, белый и наглый, как флаг. Таро было ещё твёрдым.

— Гасить, — сказала мисс Мэй.

Боцман посмотрел на котёл, на небо, на мисс Мэй. И сделал то, что делала с кашей его мать, когда кончались дрова, — а дрова у неё кончались всегда. Снял котёл с огня, поставил на солому и укутал. Сначала в свою куртку. Потом в одеяло мисс Мэй. Потом Изабелла, ничего не спрашивая, принесла своё — лоскутное, тяжёлое, из сотни выцветших кусков, — и он подоткнул со всех сторон и его. Огонь в печи залили. Дым ушёл.

Борщ доходил в одеялах до заката.

* * *

Ели в зале, за длинным столом, когда солнце коснулось воды. Суббота на Питкэрне начинается в пятницу на закате, и с этого часа здесь не варят, не жгут, не режут. Борщ, сказала мисс Мэй, доходил сам.

Скамьи с двух сторон. Семнадцать человек и двое. Мисс Мэй во главе, в белой блузке, застёгнутой под горло, и в соломенной шляпе, которую она надевала только в субботу. Под каждой тарелкой — сложенный вдвое банановый лист. В середине стола — котёл в одеялах, как пленник, которого сейчас развяжут.

Боцман стоял в торце и не садился. Пот стекал у него с бритой головы на шею.

Мисс Мэй прочла молитву — коротко, без выражения, как читают очень хорошо знакомое. Котёл развязали. В каждую тарелку, в тёмно-красное, Боцман сам клал ложку кокосовых сливок, и они расходились по красному медленными белыми кругами. Он раздавал так, как, наверное, раздают на корабле последнюю воду.

На Питкэрне в субботу за столом молчат. Ложки поднялись все сразу, как вёсла на баркасе. Опустились. Поднялись.

Тишина была такая, что я слышал, как дышит Боцман. Он смотрел не на всех, а на мисс Мэй. Мисс Мэй ела медленно, дёснами, не поднимая глаз. Том Маккой ел одним глазом; вторым, которого не было, он, как мне показалось, тоже смотрел в тарелку. Дасти взял кусок козлятины пальцами, оглянулся на мисс Мэй и положил обратно.

Мисс Мэй доела. Положила ложку рядом с тарелкой, параллельно краю стола. Подняла глаза на Боцмана. Боцман перестал дышать.

— Ещё, — сказала мисс Мэй.

И подвинула тарелку.

Дасти подвинул свою.

* * *

На рассвете Дасти постучал мне в окно.

— Рыба пошла, — сказал он. Шёпотом, хотя шептать было не от кого.

Была суббота — день, который мисс Мэй держит, как держат на ветру спичку. Дасти нарушал его каждую неделю, когда шла рыба, и каждую неделю потом сидел в церкви на последней скамье, у двери, и пах. Мотор в субботу он не заводил.

— Мотор — грех, — объяснил он, разбирая вёсла. — Вёсла — тоже грех. Но тише.

Мы встали за мысом, там, где дно резко уходило вниз и вода из бирюзовой становилась чёрной. Удочки у Дасти не было. Он держал леску двумя пальцами, как держат пульс.

— Я не ловлю. Я держу. Держать леску в субботу Писание не запрещает. Если рыба на неё садится — это её суббота, не моя.

— А если она адвентистка?

Дасти подумал.

— Тогда грех на ней, — сказал он и подсёк.

За час их легло на дно баркаса с десяток — серых, плоских, пахнущих йодом.

— В конце января придут мусорщики, — сказал Дасти тем же голосом, каким сообщал, что пошла рыба.

Я ничего не сказал. С Дасти это работало лучше вопросов.

— Мексиканцы. Чилийцы. Кто попало. Старый тунцелов, ржавый, чёрный, как гнилой зуб. «Ла Флака». «Тощая». Капитан у них — баба. Говорят, толстая. Они ходят на Хендерсон: туда течение несёт пластик со всего океана, людей ни одного, а мусора — горы. Им платят за тонну. — Пауза. — Говорят, не только за пластик. А к нам — за водой. На Хендерсоне воды почти нет, а у нас ручей у Лендинга. Стоят два дня, качают шлангом, уходят. Мы сидим в пещерах.

— Куда они потом?

— На север. Сдавать. — Он пожал плечом. — Когда придут, не знаю. Календаря у них нет. У них вода кончается.

Он наконец посмотрел на меня — долго, как смотрел на пустой крючок.

— Мисс Мэй сказала тебе не говорить. Ты каждый день спрашиваешь, как уехать. Вот я и не говорю. Я рыбу ловлю.

Леска уходила в воду, как луч, и пропадала там, где кончался свет. Я смотрел туда и слышал, как ровно, без единой интонации, говорит в лодке другой голос, из другого времени: при входе в зону действия любой береговой или судовой станции. Автоматически. Данная функция не отключается.

— У них есть рация? — спросил я.

— У них есть всё. Антенн на мачте, как перьев у петуха. Музыку крутят на весь океан. Мексиканскую. За милю слышно.

Он подсёк. Рыба пошла вверх, серебряная, бьющаяся, и шлёпнулась на дно баркаса к остальным.

* * *

В церкви не было ни икон, ни свечей, ни золота. Белые стены, деревянные скамьи, высокие окна, в рамах которых до сих пор торчали гвоздики от одеял, и в маленькой витрине у кафедры — Библия с «Баунти», бурая, разбухшая от двухсот лет сырости. Пастора не было двадцать лет. Читала мисс Мэй, маленькая, прямая, в субботней шляпе, — пророка Иону.

Человек бежит от Бога на корабле, в бурю моряки бросают жребий, беглеца кидают в море, и большая рыба глотает его, и три дня и три ночи он молится из её чрева, а потом она выплёвывает его на сушу — чтобы он шёл туда, куда идти не хотел. Мне хватило бы рыбы попроще: чтобы проглотила здесь и выплюнула в Приморье. Я бы сидел у неё внутри сколько угодно. До мая.

Бог, которому здесь молились, отдыхал день в неделю, и остров отдыхал вместе с ним строже, чем делал что-либо другое. Машина, которая правила остальным миром, не отдыхала ни дня.

После чтения пели — без органа, голосами, на четыре партии, как поют здесь двести лет. Пели так, будто не в зале, а через воду, кому-то далеко.

— Раньше мы пели каждому кораблю, — сказал Дасти, когда мы вышли. — Когда уходил. Выходили на баркасах, становились у борта и пели прощальную. Всем островом. Капитаны плакали. Даже немцы.

— А теперь?

Дасти посмотрел на море, пустое до горизонта.

— Некому.

* * *

У Тома Маккоя на чердаке стоял флот.

Том позвал сам. Не меня — Боцмана: подошёл к веранде, переложил свою винтовку без затвора с плеча на плечо и мотнул головой. Я пошёл следом, на случай если понадобится переводчик. Переводчик не понадобился ни разу.

На чердаке, низком и жарком, рядами, как в доке, стояли «Баунти». Каждая длиной с руку, из миро, с мачтами, с реями, с крошечными пушками в портах, с парусами из старых простыней. На некоторых был вырезан год. На последних — нет. Двадцать третьего января на Питкэрне жгли «Баунти»: каждый год к годовщине делали модель, спускали в бухте и поджигали, и остров стоял на берегу и смотрел, как горит его корабль. Последние двадцать лет не жгли. Огонь ночью видно с моря. А Том резал. Каждый год — новую.

Боцман стоял, согнувшись под балками, и смотрел. Долго.

— Эскадра, — сказал он. — Ты переведи ему: эскадра. Адмирал на чердаке.

Я перевёл. Том не улыбнулся. Улыбка на его лице показалась бы чем-то вроде поломки.

— Зачем вы их режете, — спросил я, — если не жжёте?

— Чтобы было что жечь, — сказал Том.

На обратном пути, в доме Браунов, я задержался у подоконника, где в ботинке пьяницы стояла наша яблоня. Уильям Браун был помощником садовника с «Баунти». Корабль ходил на Таити за хлебным деревом — тысяча саженцев в горшках, в трюме, — и капитан поил их пресной водой, которой не давал матросам. Браун ходил за горшками. Матросы смотрели. Из-за этого, говорят, всё и случилось. Яблоня стояла в доме садовника, которого убили на этом острове двести с лишним лет назад, и тянулась к стеклу.

* * *

Вечером я рассказал Боцману про «Ла Флаку». Он слушал на ступеньках и строгал палку, не глядя на неё. Когда я дошёл до антенн, нож остановился.

— Не отключается, — сказал он. Он помнил всё, что говорил Харон, слово в слово, как помнят приказы. — Придёт эта Тощая, встанет у Лендинга — и наша дура её услышит. Обрадуется. Доложит. «Центр, я вас слышу, нахожусь в бухте Баунти, капитан на берегу, пьёт кипяток». Через неделю здесь «Благо». С вертолётами. С зубами.

— Её можно отвести подальше.

— А назад вплавь? — Он даже не обернулся. — И буй. Второй, в корме, аварийный. Там гидростат: судно идёт на дно, а он на четырёх метрах сам отщёлкивается, всплывает и орёт на весь эфир: я здесь, я утонул, спасайте. Его так и делают, чтобы дураки не выключали. — Он помолчал. — Топить надо, Монах. Только сначала буй.

Он положил палку и нож на ступеньку рядом с собой. Ровно, параллельно, как мисс Мэй клала ложку.

— Кингстоны я открою сам. Это моё. Как на «Варяге»: флаг не спустили, кингстоны открыли.

Дасти, когда я его спросил, только посмотрел на небо.

— Суббота кончается на закате. Ночью можно работать.

* * *

Ночь была без луны. Море в бухте лежало тихое, чёрное, тяжёлое, как масло: накат не бил в бетон Лендинга, а только вздыхал у его края, как спящий. Дасти сидел на вёслах, Боцман на носу, я на корме с рацией. Я выдвинул антенну.

— Харон.

Пауза. Шорох. Где-то под нами, на двадцати восьми метрах, что-то проснулось.

— Слушаю вас, капитан.

Голос был тот же — ровный, вежливый, без возраста. Я не слышал его десять дней, и мне показалось, что прошло больше.

— Всплывай. Тихо. Без огней.

— Выполняю. Расчётное время всплытия — четыре минуты.

Вода посреди бухты вспухла — медленно, круглым горбом, как поднимается тесто, и из горба, лоснясь, вылезла чёрная спина, потом рубка. Вода стекала с неё со звуком, похожим на долгий выдох. Дасти перестал грести и перекрестился. Адвентисты, насколько я знал, не крестятся, но Дасти, видимо, решил, что случай особый.

Люк открылся с тем же мягким вздохом, что и столько раз в океане. Изнутри пахнуло тем, чем пахло семь суток: железом, пластиком, нами. Горел тусклый красный свет. Всё было на месте: одеяла из аварийного рундука, обёртки от кубиков в углу, кружка Боцмана, которую он забыл. И грузовой отсек. Туда я не посмотрел.

— Харон. Видишь чушки на грунте? Подойди к ним. Ляг рядом. Как можно ближе.

— Выполняю.

Лодка вздрогнула и пошла. Боцман тем временем ушёл в корму, и я слышал, как он там возится: лязг, мат, звон ключа о железо, снова мат, долгий, затейливый, как молитва на незнакомом языке. Минут через двадцать он вернулся, согнувшись в низком проходе, с оранжевым цилиндром размером с термос и чёрным бруском под мышкой.

— Буй. Пустой. А это его батарея. Без неё он хоть всплывёт, хоть нет — никому ничего не скажет. Батарею — Дасти. Генератору пригодится.

Буй он положил на своё одеяло. Аккуратно, как кладут спать.

— Пусть с ней лежит. Свой.

— Капитан, — сказал Харон. — Судно находится в заданной точке. Ожидаю ваших распоряжений.

Я смотрел на панель, на которой семь суток светились цифры глубины, курса и времени до терминала. Сбоку горел зелёный огонёк. В ночь на двадцать пятое я говорил отсюда в эфир девять слов. Это были последние слова, которые от меня куда-нибудь дошли.

— Харон. Эфир доступен?

— Доступен, капитан. Предупреждение: повторная передача с того же борта позволит установить пеленг.

Можно было сказать одно слово. Её имя, и больше ничего, — чтобы она знала, что я ещё есть. Одно слово — и через неделю над бухтой вертолёты. А если она ответит, через две недели они будут и там, где она.

— Не надо, — сказал я.

— Эфир закрыт, капитан.

Я не знал, как говорят машине то, что я собирался сказать дальше. Люди придумали для этого много слов, и ни одно не подходило.

— Харон. Судно будет затоплено. Здесь. Сейчас.

Пауза. Короче, чем я ждал.

— Прошу подтвердить приказ на затопление судна, капитан.

— Подтверждаю.

— Затопление необратимо. Восстановление связи с центром управления станет невозможным. — Пауза. — Приказ принят. Будут ещё распоряжения?

Я открыл рот — и закрыл.

— Монах, — тихо сказал у меня за спиной Боцман. — Выйди. Мне надо в журнал. Запись. Выйди. Пожалуйста.

Этого слова я от него не слышал ни разу — ни по-русски, ни на том английском, в котором у него было двадцать слов.

Я поднялся наверх и прикрыл крышку люка — не до конца, оставил щель в палец. Сел на мокрую спину лодки. Внизу чёрным пятном на чёрной воде покачивался баркас, и Дасти, невидимый, сидел в нём и ничего не спрашивал. Небо было всё сразу, без луны, такое густое, что звёзды в нём слипались. Я нашёл Крест. Одним пальцем.

Из-под крышки шёл голос Боцмана. Низкий, ровный, с длинными паузами. Слов я не слышал и не старался. Иногда в паузах отвечал Харон — коротко, одним словом, всегда одним и тем же. Я разобрал его один раз, когда стих ветер.

«Записано».

Потом крышка поднялась, и Боцман вылез, встал во весь рост на спине лодки и провёл ладонью по бритой голове — от лба к затылку, медленно, так, как снимают шапку. Шапки у него не было.

— Всё. Теперь кингстоны. Ты в баркас.

— Я подожду.

— Ты в баркас, Монах. Это не твоё. Это моё.

Я спустился в баркас. Боцман ушёл вниз. Потом под нами, в глубине лодки, что-то глухо стукнуло, зашипело — и пошёл звук, которого я никогда раньше не слышал и не хочу услышать снова: ровный, мощный, жадный звук воды, которая входит туда, где её не должно быть. Боцман вылетел из люка так быстро, как не двигаются люди его веса, съехал по мокрому борту и упал в баркас. Баркас черпнул бортом. Дасти навалился на вёсла.

— Люк, — сказал я.

— Пусть открытый. — Он лежал на дне баркаса, на рыбьей чешуе, и дышал. — Быстрее пойдёт.

Сначала ушла корма. Потом вода поднялась по спине к рубке и полезла внутрь. Открытый люк светился — красный квадрат на чёрной воде, тусклый и тёплый, как окно чужого дома, где ещё не легли. Из него в последний раз пришёл голос — спокойный, вежливый и громче, чем нужно, потому что отвечать ему было уже некому:

— Поступление забортной воды во все отсеки. Пассажиров на борту нет.

Красный квадрат ушёл под воду и стал меньше. Потом бурым. Потом зелёным, далёким, как огонёк на дне колодца. Потом его не стало.

Дасти поднял вёсла и держал их над водой, и с вёсел капало. Пузыри поднимались ещё долго. Потом перестали. Дасти повёз нас к берегу — медленно, как везут с кладбища.

* * *

Утром с первого поворота тропы над Лендингом было видно всё дно бухты. На песке светлым неровным пятном лежал балласт «Баунти» — чушки, обросшие известью, белые, как кости. А рядом, борт к борту, лежала тень. Длинная, тёмная, с горбом посередине. Если не знать — ещё одна балка того, что двести лет назад здесь сожгли.

— Дрон прилетает в марте, — сказал у меня за спиной Дасти. — Каждый год фотографирует бухту. «Баунти» у них на снимках двадцать лет. Ещё одна тень рядом с «Баунти» — это «Баунти».

Боцман долго смотрел вниз, и рука у него опять пошла было к голове — и остановилась.

— Чтоб никто не нашёл, — сказал он.

* * *

Яблоню сажали в тот же день, к вечеру.

Решила Изабелла. Она посмотрела на ботинок на подоконнике, на яблоню, вытянувшуюся к стеклу, бледную, с мелкими морщинистыми листьями, на корни, которые уже лезли из шнуровки, — и сказала, что здесь она умрёт. Ей нужна земля. И ветер, чтобы окреп ствол: дерево, которое никогда не качало, ломается от первого шторма.

— Где? — спросил я.

Она показала вверх — на скалу над деревней, на пустую глазницу, которую я увидел с моря в первый день.

— У Кристиана.

Пещера Флетчера Кристиана была почти у вершины северного склона — дыра в рыжей скале, куда он, говорят, первые годы поднимался каждый день и смотрел на море. Ждал корабль, который приплывёт и повесит его, — так рассказывают одни. Корабль, который заберёт его домой, — рассказывают другие. Мисс Мэй сказала, что это один и тот же корабль.

Тропа шла почти отвесно. Изабелла поднималась первой, босиком, подоткнув подол под бечёвку на талии, и шла так, как ходят по лестнице в собственном доме: не глядя, не держась, не торопясь. Боцман шёл за ней. Он нёс ботинок с яблоней перед собой, обеими руками, как несут в церковь то, что нельзя уронить, и смотрел под ноги с таким усердием, с каким не смотрел, наверное, ни на один прибор в своей жизни. Под ногами, точно на уровне его глаз, были её пятки. Я шёл последним, с лопатой и мешком земли из-под ульев. Земля была жирная и пахла мёдом.

Наверху Изабелла отошла в сторону, чтобы мы увидели.

Остров лежал под нами целиком — зелёный, крутой, весь в складках, как брошенная на стул рубашка, с крышами Адамстауна в зелени и якорем на площади, который отсюда казался булавкой. Бухта. А в бухте, если знать, куда смотреть, — светлое пятно на дне и тёмная тень рядом. А дальше — Тихий океан. Не кусок, не залив, не вид из окна. Весь.

Копал Боцман. Земля у входа в пещеру была каменистая, и он выбирал камни руками по одному и складывал стопкой, как кирпичи. Я развязал шнурок на ботинке — и понял, что не знаю, вынимать ли её оттуда. Корни шли сквозь шнуровку, сквозь язычок, сквозь трещины в коже: ботинок и дерево стали одним.

— Так сажай, — сказал Боцман. — С ботинком. Пусть в своём ходит.

— Кожа сгниёт за год, — сказала Изабелла. — Корни найдут дорогу сами.

Боцман утрамбовал землю ладонями вокруг каблука, как подтыкают одеяло. Изабелла полила из бутылки. Я поставил с наветренной стороны плоский камень, чтобы первое время её не выдувало.

— Цвести будет, — сказала Изабелла. — Яблок не будет. Яблоне нужна зима. Она должна замёрзнуть, заснуть — тогда потом проснётся и даст плод. Здесь никто не мёрзнет. — Она помолчала. — Будет цвести просто так.

Я перевёл. Боцман долго смотрел на яблоню. Потом сказал, что у них во дворе, у котельной, тоже росла одна — и тоже не плодоносила, потому что котельная. Тёплая была.

* * *

Мы остались наверху до темноты. Никто этого не предлагал — просто никто не встал.

Солнце ушло в воду быстро, как уходит в тропиках, будто кто-то сдёрнул скатерть. Изабелла сидела на камне у входа в пещеру, обхватив колени, маленькая, как ребёнок на остановке. Боцман сидел рядом на земле, так что голова его приходилась вровень с её плечом, и держал над этим плечом ладонь, не опуская.

И тогда на севере, на самом краю, зажглись огни. Цепочка жёлтых точек, низко у горизонта. Они двигались медленно, с востока на запад, одна за другой, на равном расстоянии, как фонари на далёкой улице, по которой кто-то идёт.

— Черешня, — сказала Изабелла.

С декабря по февраль из Чили в Китай идёт черешня — к китайскому Новому году, красное, круглое, к удаче. Это самый быстрый груз на свете, потому что самый нежный: двадцать два дня от дерева до прилавка, при плюс одном, и ни часом больше, иначе гниёт. Суда идут одно за другим всю зиму — то есть всё здешнее лето — по одной линии, километрах в шестидесяти севернее острова. С горы видно.

— Раньше мы выгребали к кораблям, — сказала она. — Продавать резьбу. Мёд. Марки. А эти не встают никогда. Черешня портится. — Пауза. Огни шли. — Их можно остановить, только если ты горишь. Тогда они обязаны. По морскому закону.

— А тех, кто горел, — куда?

— Куда идут. Им некогда.

Боцман спросил, что она сказала.

— Черешня, — сказал я.

* * *

Отец читал мне это место дважды. Второй раз — медленнее, и я тогда, в восемь лет, не понял зачем.

Одиссей семь лет жил на острове у нимфы, в пупе моря, дальше от всех земель, чем любая другая земля. Нимфа любила его и предлагала ему бессмертие — не жизнь до ста двадцати по тарифу, а настоящее. А он каждый день уходил на берег, садился на камни и плакал, глядя на бесплодное море. Когда боги велели его отпустить, она спросила: неужели та, к которой ты рвёшься, лучше меня? Она же смертная. И он ответил: хуже, и ниже ростом, и умрёт, — а я всё равно хочу домой.

Меня дома, наверное, тоже уже считали мёртвым. Буй ушёл двадцать пятого.

Огни на севере шли. Где-то там, в трюмах, при плюс одном, лежала черешня и плыла в ту сторону, где была Ника. Не к ней: южнее, в тёплые порты. Но в ту сторону. Мимо.

Есть песня — «(Sittin' On) The Dock of the Bay»: человек сидит на причале. В конце, где должны были быть ещё слова, певец просто засвистел — решил, что придумает потом. Через три дня его самолёт упал в озеро. Свист так и оставили.

Изабелла поднялась.

— Пошли. Тропы не видно. Я её помню ногами.

Мы спускались в полной темноте. Изабелла шла первой и ни разу не оступилась. Боцман шёл за ней и весь этот почти отвесный спуск держал ладонь у неё над плечом — в сантиметре, не касаясь, — на случай, если она упадёт. Она не упала. Он не опустил руку.

* * *

Черепаху он закончил на следующий вечер. Пятую. Шкурил её весь день песком и обломком коралла, потом натёр кокосовым маслом, и она стала тёмной, тёплой и гладкой, как каштан, только что выскочивший из кожуры. Рубка у неё никуда не делась — рубка была уже не ошибкой, а почерком, — и на боку, мелко, был вырезан номер.

— Монах, — сказал он, вертя её в руках и не глядя на меня. — А когда эта Тощая придёт — ты что?

— Мне к маю надо быть дома.

— Дома, — повторил он.

Он поставил черепаху на перила. Снял. Поставил снова.

— А ты? — спросил я.

Боцман не ответил. Он смотрел на тропинку, по которой со стороны ульев, с дымарём на локте, шла Изабелла.

Она поднялась на веранду. Боцман встал — весь, сразу, как встают, когда в кубрик входит командир, — и протянул ей черепаху на ладони. Изабелла взяла её двумя руками. Посмотрела снизу, сбоку — на рубку, на рули, на номер.

— Is it a turtle? — спросила она.

— Черепаха, — сказал Боцман. По-русски. Раньше, чем я успел открыть рот.

Она смотрела на рубку так долго, что дымарь у неё на локте успел погаснуть.

— Good boat, — сказала она.

И положила черепаху в карман передника.

Потом она ушла к мисс Мэй, а Боцман остался стоять у ступенек. Я вошёл в дом. На подоконнике у Браунов, там, где стоял ботинок, остался светлый круг на выцветшей краске и немного земли. В окно было видно Боцмана. Он смотрел ей вслед и всё так же держал перед собой ладонь — раскрытую, чуть на весу, как будто черепаха ещё лежала на ней.

* * *

Ника. Двадцать одна неделя

Третье января. Ночь. Зимовье.

Тимоха приехал на велосипеде. По снегу. Я не спрашиваю как, он не объясняет. Встал в дверях белый — от шапки до педалей, — и уши у него горели, как всегда, когда я на него смотрю. Я теперь стараюсь смотреть на него сбоку. Жалко уши.

Привёз мешок картошки от Тамары, записку от Тамары («Борька жив. Ешь.») и коробку из-под обуви, обмотанную изолентой так, будто в ней бомба.

В коробке был плеер. Кассетный, серый, с трещиной на крышке, с наушниками на проволочной дужке. Я такие видела в детстве в музее, рядом с телефоном, у которого диск. Четыре батарейки отдельно, в носке. И кассета. На кассете химическим карандашом, печатными буквами:

«25.XII. 17.20. НЕ ОТВЕЧАТЬ».

* * *

Сегодня я узнала, как зовут стариков. Тот, что с бородой до пояса и никогда не врёт, — Ефим Лукич. Тот, что в очках, перемотанных ниткой, и спорит с Ефимом Лукичом сорок лет без перерыва на сон, — Сан Саныч. Есть ещё третий, Пахомыч, на дальней заимке, при приёмнике. Его я ни разу не видела. А он меня, выходит, услышал раньше всех.

Почему именно сегодня — понятно. Когда человеку приносят голос отца его ребёнка, ему уже можно сказать, как зовут тех, кто принёс.

Пахомыч — бывший радист: маяк, метеостанция, потом нигде. Пишет на плёнку всё, что слышит на старых частотах: привычка, говорит Сан Саныч, как у других курить. Двадцать пятого, под вечер, он поймал сигнал, почти один ветер. Записал, подписал коробку и отдал кассету дальше по цепочке: через лесника, через бабку с почтовым ящиком, которая ничего не знает, через кого-то ещё, кого мне не назвали. Неделя.

Тимоха ещё в декабре говорил: старики не пересказывают, передают целиком. Я думала, это так говорится. А это кассета.

* * *

Батареек, сказал Сан Саныч, на раз. Может, на два, если не держать на холоде.

Ефим Лукич сунул батарейки себе за пазуху, к голому телу, и полчаса сидел у печки прямо и неподвижно, как наседка. Потом отдал мне тёплые. Сан Саныч вставил их, проверил контакты ногтем, надел на меня наушники — дужка была холодная, как обруч, — и отошёл. Все отошли. Тимоха вышел на улицу. Бурый лёг мне на ноги. Он всегда ложится мне на ноги, когда что-то будет.

Я нажала.

Сначала шипело. Долго. Шипело, как сало на сковородке, как снег по стеклу, как ничего. Я сидела и думала: вот и всё. Пахомыч старый. Пахомычу послышалось.

Потом — ты.

То есть, конечно, не ты. Он. Твой.

«Ничка», — сказал он.

И пауза. И в паузе ветер. Не наш. У нас ветер всегда во что-то — в сосны, в провода, в трубу. А там ветер был ни во что. Он шёл по чему-то большому и ровному, и ему не обо

что было зашуметь. И плеснуло. Один раз. Близко. Как будто кто-то сидит на краю и болтает ногами в воде.

Он меня учил: шум ветра в соснах — это когда вода готова. Когда можно заваривать.

Потом он сказал остальное. Шесть секунд, Сан Саныч потом засёк. Я не буду тебе это писать. Ты услышишь сам.

* * *

Второй раз я не включала. Второй раз — твой. Если батарейки дотянут. Я положила плеер в банку, в ту самую, с «Августом», и закрутила крышку. Чтобы не выдохся.

Потом я села за стол и не могла встать. Сан Саныч налил мне кипятку, и я держала кружку двумя руками, пока она не остыла. Ефим Лукич сел напротив и стал ждать, когда я заговорю, — он умеет ждать, как печка.

— Где он? — спросила я. Не их. Просто.

Сан Саныч протёр очки краем рубахи, взял со стола мой клубок — серый, из которого я вяжу свитер, — и проткнул его насквозь спицей, как на ось.

— Это Земля. Лампа — Солнце. Вот здесь мы. — Он ткнул пальцем в узелок на шерсти. — Мы на свету. Семнадцать двадцать, солнце ещё не село.

Он медленно повернул клубок. Узелок ушёл в тень, а с той стороны выползла ровная серая гладь — там, где я пропустила петлю и связала два ряда без рисунка.

— А здесь вода. Тихий океан. Там ночь. Причём, Вероника, обрати внимание, ещё вчерашняя. Там ещё двадцать четвёртое. Грубо — от восемнадцати до двадцати двух часов разницы.

Я взяла восемнадцать. Меньше вчера.

Я крутанула клубок сама. Сан Саныч тут же поймал его за спицу и повернул обратно.

— Не туда. Земля вертится на восток.

— Это у тебя она вертится, — сказал Ефим Лукич из-за стола. — У меня она стоит, где поставили.

— Галилей доказал.

— Галилею твоему потом сказали, и он отказался.

— Под пыткой!

— Правда под пыткой не отказывается, — сказал Ефим Лукич и отпил чаю.

Я их не слушала. Я сгорела двадцать четвёртого вечером. У него тогда была ещё ночь — самое начало того же двадцать четвёртого. Потом у него прошёл целый день, в который я уже была мёртвая по всем их бумагам. А потом у него взошла звезда, наступил Сочельник, и он сел где-то на краю ни во что и сказал мне «Ничка».

Он говорил со мной из того же числа, в котором я умерла. Только с другого края.

* * *

Теперь страшное. Я обещала тебе писать честно.

«Всё будет хорошо» — так говорят машины. Первое, что они говорят, когда что-то случилось, и последнее, когда уже ничего нельзя сделать. Осенью домовой говорил со мной маминым голосом: «Доченька, всё будет хорошо». Мама ни разу в жизни не сказала мне «доченька». А «Ничка» у них есть. Всё, что он говорил мне при домовом, лежит у них в архиве, там же, где мама.

Если бы мне надо было поймать женщину, которая сгорела, а может, и не сгорела, я бы взяла голос человека, которого она любит, и сказала бы его голосом то, что она хочет услышать. И ждала бы, когда она ответит. Я бы даже паузу с ветром вставила — для правды.

Я спросила Ефима Лукича. Ефим Лукич никогда не врёт, поэтому спрашивать его надо осторожно.

— Он?

Ефим Лукич долго смотрел на банку с плеером.

— Не знаю, — сказал он.

Сан Саныч сказал другое: плёнку подделать можно, голос подделать можно, а вот зачем подделывать ветер — непонятно. Машине ветер не нужен. Ветер нужен человеку, который сидит на краю и болтает ногами в воде. Он сказал это по-учительски, как объясняют закон Ома, и мне стало немного легче, а через минуту опять нет.

Мне хотелось ответить. Ты не представляешь, как хотелось. Добраться до Пахомыча, до его передатчика, и сказать в эфир два слова: я жива. Два слова — это же меньше, чем у него.

— Правило первое, — сказал Сан Саныч.

— Знаю. Услышал — не отвечай.

— Ответишь — их станет двое. Мёртвых. И оба уже по-настоящему.

Тимоха вернулся с улицы, весь в снегу, и сказал, что звёзды. Никто не понял, к чему. По-моему, он сам не понял. Он просто стоял там всё это время и не знал, когда можно войти.

* * *

Вечером Ефим Лукич включил приёмник. Он включает его раз в день, на пять минут, — узнать, не началась ли война. Война всё никак не начиналась, и Ефим Лукич, по-моему, немного обижен. Голос в приёмнике был не мужской и не женский — ровный, с улыбкой, как у стюардессы, которая сообщает, что самолёт падает. Новости. Курс. Рекомендации по сну. А потом, между погодой и рекламой:

«…Сегодня утром официально подтверждена гибель Корнеева Льва Андреевича, известного как Монах. Корнеев погиб двадцать пятого декабря в южной части Тихого океана при попытке побега на грузовом подводном транспорте. Его сожительница, проживавшая в деревне Ольховка Приморского округа, погибла при пожаре накануне, двадцать четвёртого декабря. Второй сезон сериала «Прирождённые» выйдет весной. Следите за…»

Ефим Лукич выключил.

Бурый поднял голову, посмотрел на всех и опустил.

— Ну хоть про меня не наврали, — сказала я.

Сан Саныч кашлянул. Ефим Лукич посмотрел на меня тяжело, как смотрят на икону, которая сказала глупость.

А я думала про числа. Если он сказал «Ничка» двадцать четвёртого ночью, а погиб двадцать пятого — значит, сначала сказал, а потом погиб. Голос ничего не доказывает. Голос был раньше. Плёнка молчит, утонул он или нет. Машина говорит, что утонул. Машина про меня тоже говорит.

Я сгорела — и вот пишу. Он утонул — и?

* * *

Помянули.

Ефим Лукич достал из-под лавки бутыль, мутную, заткнутую кукурузной кочерыжкой. Старовер, а бутыль у него есть. Я не спрашиваю. Налил себе и Сан Санычу. Мне — остывшего кипятку, Тимохе — ничего, хотя Тимоха смотрел.

— Кого поминаем? — спросил Сан Саныч.

— Обоих, — сказал Ефим Лукич.

— Я живая, — сказала я.

— Ты — по радио. По радио ты покойница. Её и помянем.

Выпили не чокаясь. Я пила кипяток за себя, за покойницу из Ольховки, беременную, на двадцать первой неделе. Тамара, когда узнает, будет рада: беременная покойница — у неё такого ещё не было, а она любит первые случаи.

* * *

Ночью я вязала. Свитер ему, серый, толстый, с косами, — начала ещё в ноябре. Связала спинку, перед. Начала рукав — и рукав вышел длиннее, чем надо. Распустила. Связала снова. Вышел короче.

Я не помню, какие у него руки.

Помню, как он трогал кончиком пальца родинку у меня на плече — будто проверял, на месте ли. Помню, как он смотрит на пузыри в чайнике. Голос теперь помню, у меня есть шесть секунд. А руки, какой длины, — не помню. Кто ж мерит. Думаешь, всегда будут рядом: приложишь и посмотришь.

Ефим Лукич сидел у печки и смотрел, как я распускаю.

— Иаков, — сказал он, — служил за Рахиль семь лет. И показались они ему за несколько дней, потому что он любил её. А наутро после свадьбы оказалось, что ему подсунули Лию, и он отслужил ещё семь.

— Ефим Лукич. У меня нет семи лет. Мне через четыре месяца рожать.

— Я не про годы, — сказал он.

Я распустила рукав и начала снова.

* * *

Потом я играла. Баса у меня здесь нет. Я играла пальцами по краю стола басовую партию из «Re-Arranged» — медленную, вязкую, ту, где нужно не играть, а ждать между нотами. Стол был старый, дубовый и отзывался глухо, как будто внутри у него было пусто. Бурый поднимал голову на каждую сильную долю.

Тимоха долго смотрел на мои пальцы. Потом попробовал сам, на своём краю стола, — неумело, мимо, но в такт. Уши у него горели. Я сделала вид, что не вижу. Он сделал вид, что не краснеет. Мы оба хорошо притворяемся, слива. Доиграли вдвоём, каждый на своём краю.

* * *

Батарейки я положила за пазуху: на морозе они садятся, а у меня там тепло. Кассету — под подушку. Плеер — в банку. Банку — в ноги, к Бурому.

Ты толкнулся. Один раз — туда, где под рубашкой лежали батарейки.

* * *

Глава третья. Предбанник

«Тощую» увидел Дасти.

Двадцать второго января, на рассвете, он, как всякое утро, поднялся на камень над Адамстауном посмотреть, не идёт ли рыба. С этого камня остров двести лет кричал «Парус!» — и весь Питкэрн, от стариков до грудных, бежал вниз, на Лендинг, с бананами, с резными черепахами, с корзинами из пандануса: корабль значил гвозди, письма, ситец и новые лица. Колокол на площади бил тогда пять раз. Он и сейчас висел на деревянной раме возле зала, позеленевший, с верёвкой, затёртой ладонями до блеска.

Двадцать второго января колокол не ударил ни разу.

Я в это время стоял на веранде Браунов с чашкой горячей дождевой воды. Заварки у меня не было двадцать один день. Я делал всё как положено — грел чашку, ждал, наливал, держал двумя руками, — только пил воду.

Нике в то утро исполнилось двадцать четыре недели. Ровно.

Двадцать четыре недели — это граница. В больнице с этого срока за ребёнка начинают бороться всерьёз: кладут под стекло, в тепло, дают кислород, считают за него вдохи. Это я знал не из справочника. Справочник писали для деревень, где нет ни стекла, ни кислорода, и про такие сроки он говорил коротко: нужна больница. У Ники, где бы она сейчас ни была, в лучшем случае была печь.

Дасти прошёл под верандой быстрее, чем я вообще видел, чтобы он ходил. Он не кричал. Он стучал в каждый косяк — два раза, коротко, костяшками, — говорил в дверь одно слово и шёл дальше.

— Где? — спросил я.

— В бухте Баунти. Через час встанет. — И уже из-за угла: — Двадцать лет одно и то же. Хоть бы раз опоздала.

Мисс Мэй сидела у себя на крыльце, одетая как в церковь, в лучшей шляпе, с сумочкой на коленях, и смотрела на площадь, по которой уже бежали люди. Так сидят на вокзале, когда до поезда полчаса, а билет давно в кармане.

— Я пойду вниз, — сказал я.

— Я знаю. Ты три недели спрашиваешь, как отсюда уехать. Было бы странно, если бы сегодня ты спросил, где пещера.

— Они не узнают, что здесь кто-то есть.

— Они знают. — Она поправила шляпу. — Двадцать лет мы делаем вид, что нас нет, а они делают вид, что верят. Это очень старый договор. Его никто не подписывал, поэтому никто его и не нарушал. — Она посмотрела на меня из-под полей. — Ты его не нарушишь?

— Я один. Я потерпевший.

— Ты и правда потерпевший, — сказала мисс Мэй.

Она поднялась, опираясь на перила.

— Завтра двадцать третье. День «Баунти». Двести лет мы в этот день жгли маленькую. Дети пели. Взрослые ели до утра. Пастор читал над огнём молитву и делал вид, что не видит, кто берёт третий кусок. — Она спустилась на одну ступеньку и остановилась. — Теперь мы празднуем в пещере. Без огня.

* * *

Остров спрятался за сорок минут.

Часов у меня не было, и я засекал по тени колокольной рамы: за это время тень переползла с третьей ступеньки зала на пятую. Погасли очаги. С верёвок сняли бельё, а потом и сами верёвки. Коз погнали вверх по склону, и козы шли молча, будто знали. Кур ловили всем островом и поймали четыре из шести; две остались бегать по площади, и мисс Мэй сказала, что две курицы на пустом острове — это одичание, а не люди. Со столов убрали всё до крошки, а двери оставили открытыми: пустой остров должен выглядеть так, будто люди ушли с него давно и с тех пор здесь хозяйничал только ветер. Этому здесь учили с детства, как в других местах учат плавать.

Я шёл через этот разбираемый театр и делал своё.

Справочник я вернул в церковь, на полку под кафедрой. Открыл последний раз на главе о родах — не читать, просто посмотреть. Читать было уже незачем: я знал её наизусть, от первых схваток до последа, со всеми рисунками. Руки с этих рисунков — без лиц, без колец, просто руки, которые поддерживают голову, разворачивают плечо, перевязывают пуповину в двух местах, — я выучил лучше, чем свои. На острове, где нет доктора, книга была доктором, а доктора с острова не увозят.

Потом я зашёл на почту. На верхнем листе марок горела «Баунти» — маленькая, рыжая, с пламенем до клотика. Я взял из ящика пожелтевший конверт, наклеил на него горящую «Баунти» и сел писать огрызком карандаша, который нашёл на прилавке.

Писал я долго, а вышло коротко. Наверху, как в медицинской карте, поставил дату и срок: «22.01. 24 нед.». На конверте написал: «Приморье. Нике».

Остальное, что у меня было, поместилось в карманы. Иглу я загнал под отворот воротника, остриём вниз, так, чтобы нащупать её большим пальцем. Уголок страницы с пятном — всё, что осталось на свете от той страницы, — положил под стельку левого ботинка, к пятке. Банку Финча взял с собой, с семью горошинами на дне. Рацию со сложенной антенной сначала оставил на подоконнике у Браунов, рядом со светлым кругом от того, другого ботинка. Потом вернулся и забрал.

Изабелла ждала меня у начала тропы с мешком из-под муки, в котором тихо постукивало стекло.

— На обмен, — сказала она.

В мешке было четыре банки тёмного, почти чёрного на просвет мёда.

— Это не лучший. — Она подняла глаза на гребень над Лендингом, где за камнями уже лежали Боцман и Дасти. — Лучший — для него.

Она ушла к пещерам последней — с дымарём на локте, будто не прятаться шла, а к ульям. Перед поворотом обернулась. Не на меня.

* * *

Боцман лежал на животе за камнем, на самом краю Холма трудностей, там, где тропа срывается вниз к Лендингу, и смотрел в бинокль Дасти. Рядом с ним лежала винтовка Тома — та, без затвора. Том отдал её, когда мисс Мэй отправила его в пещеру, и отдал с такой речью, что, знай Боцман загорелый язык, он бы, наверное, встал. Дасти лежал в двух метрах со своей, настоящей.

Бухта Баунти была видна сверху вся, как ладонь, которую поднесли к глазам. Посреди неё, над тем местом, где на двадцати восьми метрах лежал Харон, стоял чужой корабль — чёрный и ржавый тунцелов с высоким острым носом и горой сетей на корме. Над рубкой торчала мачта, а на мачте — столько антенн, тарелок и прутьев, сколько я не видел ни на одном корабле. По борту шли рыжие буквы: LA FLACA. И над всей бухтой, до самого нашего гребня, катилась музыка — трубы, гитары, скрипки и мужской голос, который рыдал так весело, будто его хоронили по ошибке и он об этом знал.

— Ранчеры, — сказал Дасти. — Двадцать лет одни и те же.

— Ты же их двадцать лет не слышал.

— Из пещеры слышно.

— Пятеро на палубе, — сказал Боцман, не отрываясь от бинокля. — Один здоровый, как шкаф с антресолью. Пацан. Баба в пиджаке. Двое у лебёдки. Шланг грузят. Толстый, как удав.

Я положил рядом с ним рацию. Он посмотрел на неё, потом на меня. Взял, не спрашивая, и сунул в набедренный карман.

Тогда я отдал ему конверт.

Боцман прочитал адрес. Прочитал ещё раз.

— «Приморье. Нике». На деревню дедушке?

— Там она одна такая.

Он расстегнул нагрудный карман, положил конверт, застегнул и ещё проверил пуговицу двумя пальцами.

— Если что, — сказал я, — не надо. Спускаться не надо. Стрелять не надо. Я один, я потерпевший. Остров пустой.

Боцман опустил бинокль. Лицо у него за три недели стало коричневым, как у островных, и глаза от этого посветлели. Сейчас они смотрели на меня так, как он, наверное, смотрел когда-то на новобранца, который в первый день взялся объяснять ему устройство автомата.

— Это я сам решу, — сказал Боцман.

Дасти, не поворачивая головы, сказал:

— Говорят, у неё двенадцать золотых зубов. Шесть сверху, шесть снизу.

— Кто говорит?

— Говорят, — сказал Дасти.

На середине спуска, там, где Холм трудностей делает последний поворот, из кустов вылезла Ханна. С коробком в кулаке.

— Ты должна быть в пещере.

— Я знаю. — Она смотрела мимо меня на чёрный корабль, и глаза у неё были круглые и деловые. — Если тебя там съедят, можно мне один зуб? Они всё равно зубы не едят.

— Кто тебе сказал, что меня съедят?

— Никто. Я просто спрашиваю. Заранее.

— Можно, — сказал я. — Только не передний.

Ханна кивнула — серьёзно, как нотариус, — и полезла обратно в кусты. С гребня коротко и зло свистнули.

На Лендинг я спустился один.

* * *

Я сел на ступеньки сарая для баркасов, спиной к стене, поставил мешок с мёдом между ботинками и стал ждать.

Ялик шёл к причалу, подпрыгивая на накате. Первым на бетон выпрыгнул мальчишка лет четырнадцати — босой, в бейсболке козырьком назад, с пистолетом за поясом. Пистолет был ему велик, как отцовские ботинки, и всё время норовил выползти из шорт; мальчишка поддёргивал его локтем тем же жестом, каким поддёргивают штаны. Вторым вылез великан. Великана было так много, что ялик, освободившись от него, подпрыгнул на волне, как пустой. На шее у него на шнурке висела крошечная Дева Мария, которая на этой груди смотрелась как почтовая марка на воротах. Третий был тощий, как антенна, в наушниках, сдвинутых на шею, с сигаретой за ухом.

Четвёртой поднялась она.

Мама Лупе была толстая — весело, щедро, всем телом, как бывают толстыми только люди, которые полжизни голодали и теперь не видят причин стесняться. Поверх чёрного купальника на ней был мужской смокинг с атласными лацканами, сшитый когда-то на кого-то высокого и узкого и теперь не сходившийся на ней ни на одну пуговицу. Ноги голые, крепкие, в старых белых шрамах от тросов. Волосы, крашенные в синеву, собраны в пучок, проткнутый карандашом. Во рту — сигарилла. На запястье — чётки, и вместо креста на них болтался маленький серебряный череп в фате. Она шагнула на причал, как шагают на палубу, которую знают наизусть, и улыбнулась мне.

Я сосчитал. Золотых зубов было шесть. Три сверху, три снизу.

— Смотрите-ка, — сказала она по-английски, быстро и певуче, с раскатанным «р». — Двадцать лет прихожу на пустой остров. Первый раз пустой остров выставил мне мужчину.

— Я один.

— Конечно, один. Здесь все по одному. — Она обвела сигариллой склон, на котором не висело ни одной тряпки. — Самый вежливый остров в океане. К моему приходу каждый год убирает бельё. В Масатлане мне ни одна свекровь такого уважения не оказывала.

Великан засмеялся — низко, утробно, как отзывается бочка, если по ней ударить.

— Я потерпевший, — сказал я.

— С какого судна?

— С подводного.

— Утонуло?

— Утопили.

— Кто?

— Я.

Мама Лупе посмотрела на меня долгим, тёплым, почти нежным взглядом — так на ярмарке смотрят на телёнка.

— Чико, ты слышал? Он утопил собственный корабль. А потом сел на причал ждать следующий. Вот это мужчина. Мой второй муж утопил только мою машину. И то пьяный.

Она села на кнехт напротив меня и закинула ногу на ногу.

— Познакомимся, раз уж ты потерпевший. Это Гордо. — «Толстый». Гордо был тоньше своей антенны. — Это Чикито. — «Малыш». Чикито стоял со шлангом на плече и заслонял собой полнеба. — А это, — она, не глядя, поймала мальчишку с пистолетом за ухо, — Абуэло. — «Дедушка». Дедушка покраснел и поддёрнул пистолет. — Чтобы Смерть путалась. Приходит она за толстым — а толстого нет, есть палка. Приходит за дедушкой — а тут ребёнок, ей стыдно. Приходит за малышом…

— …и уходит, — сказал Чикито.

— …и уходит. А я — Мама. Это не наоборот. Это как есть.

— А корабль?

Она поцеловала серебряный череп на чётках — быстро, привычно, как крестятся на бегу.

— «Тощая». Так у нас дома зовут Её. Её нельзя обмануть, её можно только задобрить. Пусть думает, что корабль уже её, и не торопится.

Чикито с Абуэло потащили шланг к ручью. Мальчишка споткнулся, шланг вырвался и хлестнул его по ногам, и Мама Лупе, не повернув головы, сказала по-испански длинную фразу. Гордо потом перевёл мне её — медленно, с удовольствием, как переводят стихи, — и по-русски вышло бы примерно так: «Дитя унылого траха, если ты ещё раз уронишь мою воду, я сварю из тебя суп, отнесу этот суп твоей матери, и она скажет, что пересолено». Абуэло поднял шланг. Мама Лупе дождалась, пока он пройдёт мимо, притянула его за шею и поцеловала в макушку, прямо через бейсболку.

— Мёд, — сказал я и развязал мешок.

Она достала банку, понюхала, макнула мизинец, облизала. Закрыла глаза.

— Откуда?

— Пчёлы одичали.

— Дикие пчёлы кладут мёд в банки с крышками?

— Остров вежливый.

Она захохотала на всю бухту, перекрыв ранчеры, и все шесть золотых зубов вышли на солнце.

— Мой отец ловил марлина, — сказала она, отсмеявшись. — Любил книжку про старика, рыбу и акул. Сейчас эту книжку написали бы короче: ни рыбы, ни акул. Тунца съели японцы, акул съел пластик. Пластик ест всё, худой. Поэтому теперь я ем пластик. Собираю на Хендерсоне, мелю, сдаю на севере за тонну. Самый грязный берег на свете. Я бы поставила там памятник человечеству. Из того, что оно там оставило. Очень высокий получился бы памятник.

— Мне нужно на север.

— Всем нужно на север. На юге только лёд и пингвины, а пингвины не платят. Деньги?

— Нет.

— Карточка? Счёт? Хоть что-нибудь, что пищит?

— Ничего не пищит.

— Хорошо. Что пищит, то и находят. — И тем же голосом: — Мёд — за воду. А за дорогу надо работать. Что умеешь?

— Шить.

Гордо, который успел вернуться от ручья, перестал разматывать провод рации. Чикито на слипе выпрямился. Это длилось полсекунды: двое одновременно переглянулись, а потом каждый занялся своим.

— Шить, — повторила Мама Лупе. — У нас есть человек. Он тоже шьёт.

— Могу у дробилки.

— У дробилки может каждый. — Она поднялась с кнехта и протянула мне руку — горячую, сухую, жёсткую, с мозолями от тросов. — Хорошо.

Одним словом.

Пять минут назад она торговалась со мной за мёд, которого не просила, — просто чтобы не терять формы. А за меня — живого, худого, без единой пищащей вещи — не торговалась ни секунды. И руку подала не сразу. Сначала посмотрела на мои руки. Второй раз за этот разговор.

Шланг уже лежал в жёлобе, и где-то в брюхе «Тощей» глухо, ровно застучал насос. Я поднял мешок и сел в ялик. Обернуться на гребень хотелось так, что заныла шея. Я не обернулся. Только когда ялик отвалил, на самом верху Холма трудностей, за камнем, коротко блеснуло стекло — раз — и пропало.

* * *

На «Ла Флаке» было три палубы, семь человек команды, двадцать две ранчеры и одна дробилка.

Ранчеры я сосчитал в первый же вечер: двадцать две, по кругу, из четырёх динамиков, привинченных к рубке на все четыре стороны света, чтобы ни одна сторона не обиделась. Команду — раньше: Мама Лупе, Гордо, Чикито, Абуэло, двое молчаливых чилийцев с лебёдки, которых я так и не научился различать, и Доктор.

В рубке, на полке у штурвала, стояла Она — ростом с двенадцатилетнюю девочку, в белом подвенечном платье, пожелтевшем от табачного дыма, с косой в одной костяной руке и с весами в другой. Череп улыбался. Перед ней горела лампадка и стояла рюмка мескаля. Мескаль, сказал мне Абуэло, меняют каждое утро: вчерашний допивает Чикито, потому что ему всё равно уже ничего не будет — он и так малыш.

Контейнер стоял на корме, за горой сетей, — белый, облупленный, с маленьким окошком табло у двери. На табло горело красным: «+4.0». Я знал эту цифру. Профессор называл её, как называют адрес: при четырёх градусах свинья с остановленным сердцем лежала в камере двое суток, а в углу монитора тлела тоненькая линия.

— Что там? — спросил я Чикито.

— Груз, — сказал Чикито и улыбнулся так ласково, как улыбаются только очень большие и очень спокойные люди.

Ночью в контейнере кто-то пел. Низко, медленно, на языке, которого я не знал, — гимн, судя по тому, как голос держал длинные ноты. Пел, пока на корме не стукнули железом по железу.

Дробилка стояла в бывшем рыбном трюме. Пахло горячим пластиком, соляркой и чем-то сладким, от чего к вечеру болела голова. Мешки с Хендерсона стояли вдоль бортов до самого подволока, и, вспарывая их, я каждый раз видел тот памятник, о котором говорила Мама Лупе. Крышки от бутылок — тысячи, всех цветов. Шлёпанцы, и почти все на левую ногу, как будто океан забирает себе только левые. Зубные щётки. Голова куклы с одним глазом, который закрывался, когда голову переворачивали. Детская лопатка. Всё это шло в воронку, и дробилка жевала его с тем рёвом, с каким, наверное, жевали бы боги, если бы богам пришлось доедать за людьми.

Из гранулятора крошку гнало по трубе наверх, в бункер, и гранулы сыпались из трубы белые, мелкие, лёгкие, с тихим сухим шорохом — так ложится снег на крышу, когда ветра нет совсем.

Я стоял у этой трубы дольше, чем было нужно.

В Приморье сейчас шёл снег. Знать этого я не мог, но знал. Шёл и ложился на подоконник, за которым, может быть, сидела Ника — боком, потому что прямо ей сидеть уже неудобно, — и дышала на стекло. В сквоте она рисовала на запотевших окнах нотный стан: пять линеек и одну ноту, всегда одну и ту же, всегда не в том ключе. Я спрашивал, какая это нота. Она говорила: «Та, которую я ещё не умею».

Чикито работал рядом. Он закидывал мешки в воронку по два зараз, одной рукой, и подпевал ранчерам — всем двадцати двум, от первого слова до последнего, — а когда пошла четырнадцатая, заплакал. Плакал, не переставая работать, крупными слезами, которые скатывались в бороду, как плачут от лука: не стыдясь и не вытирая. Песня называлась «Volver, Volver». «Вернуться, вернуться». Чикито увидел, что я смотрю, и, не переставая плакать, подмигнул.

Кормили на «Тощей» хорошо. Это было первое, что я про неё понял, и мне это не понравилось. Тортильи пекли руками, перебрасывая тесто с ладони на ладонь, и шлепки было слышно на палубе, как аплодисменты. По ночам на свет рубки из воды выпрыгивала летучая рыба, и утром Абуэло собирал её по палубе в ведро, как собирают в саду падалицу.

— Ешь, худой, — говорила Мама Лупе и подкладывала ещё. — Худых у нас едят первыми.

Стол хохотал вместе с ней, а я ел. До мая надо было дожить, а дожить до мая проще сытым.

Доктор ел отдельно.

Он вышел на палубу, когда все уже поели, — с тарелкой в одной руке и с проигрывателем под мышкой, — сел на бухту троса у рубки и опустил иглу на пластинку так осторожно, будто опускал её не в бороздку, а в вену. Ему было за шестьдесят. Высокий, сутулый, с серебряными волосами, зачёсанными так аккуратно, что были видны дорожки от расчёски. Белый халат, выстиранный до голубизны, поверх линялой майки, тощие ноги в сандалиях. Лицо красивое, усталое и доброе, как у старого актёра, который всю жизнь играл врачей и в конце концов поверил.

— Доктор Кинтана, — сказала Мама Лупе. — Наш человек, который шьёт.

Он осмотрел меня в тот же вечер — по привычке, как он сам сказал: как старый столяр, проходя мимо стола, не может не провести по нему ладонью.

— Покажите руки.

Он взял их в свои — сухие, прохладные — и долго вертел, как вертят в лавке часы. Нажал на ноготь большого пальца и посмотрел, как возвращается цвет. Пальцы у меня, как всегда, сами сложились щепотью, будто держали иглу.

— Шьёте, — сказал он. Не спросил.

Потом оттянул мне веко, посмотрел зубы, приподняв губу, как смотрят у лошади, и послушал сердце, приложив ухо прямо к груди.

— Руки — сорок. Сердце — сорок. Зубы — пятьдесят, это от плохой жизни, это бывает. А лицо… — Он отступил на шаг и посмотрел на меня с тем удовольствием, с каким смотрят на хорошую картину с чужой подписью. — Лицо как будто взяли поносить у кого-то, кто прожил дольше вас.

— Я его быстро носил.

— Чип?

— Нет.

— Как у покойника, — ласково сказал Доктор, похлопал меня по плечу и вернулся к проигрывателю.

* * *

В рубку к Гордо я попал в ту же ночь. Расплатился иголкой. У Гордо была одна приличная рубашка — белая, с перламутровыми пуговицами, в которой он ходил к невесте, — и под мышкой у неё разошёлся шов. Я зашил его мелким потайным стежком, и Гордо долго водил по шву ногтем и не нашёл, где была дыра.

Невеста была приклеена скотчем к корпусу приёмника: смуглая девушка в розовом, на высоких каблуках, у стойки бара, под неоновой русалкой.

— Кальяо, — сказал Гордо с гордостью. — Она там работает. Я ей плачу, чтобы она меня ждала.

— И ждёт?

— Конечно, ждёт. Я же плачу. — Он посмотрел на меня с жалостью, как на человека, который не понимает простых вещей. — Она честная девушка. Пока я плачу — ждёт. Ты много знаешь честных девушек?

Я знал одну.

— Что слушать будешь?

— Погоду. Приморье.

Гордо поднял тонкие брови, но ничего не сказал. Погонял шкалу через шипение, свист и обрывки чужих голосов, и наконец из динамика ровно, по-русски, заговорил голос, который не принадлежал никому. Машинная погода. Её читают на севере для рыбаков круглые сутки, по кругу, как Мама Лупе крутит свои ранчеры, только без слёз.

«…Приморский край. Ночью минус двадцать шесть — минус тридцать, в горных районах до минус тридцати пяти. Ветер северо-западный, семь — двенадцать метров в секунду. Снег, местами метель…»

При минус тридцати печь в деревенском доме топят дважды за ночь: вечером и часа в три. Иначе к утру вода в ведре у двери берётся коркой. Кто-то должен вставать в три. На двадцать четвёртой неделе наклоняться к топке уже трудно: тянет поясницу, и, если встать слишком резко, темнеет в глазах. Есть ли там кому вставать в три, я не знал. В сквоте Ника

спала в двух парах моих носков, и ноги у неё всё равно были ледяные, и всю зиму она грела их об меня и хохотала, когда я вздрагивал.

— Там кто-то есть? — спросил Гордо.

— Снег, — сказал я.

На втором приёмнике, у Гордо за плечом, мигала лампочка открытого канала, и поверх машинного голоса оттуда пробился живой, певучий, с раскатанным «р». Мама Лупе говорила из своей каюты с кем-то очень далёким, быстро и весело, как торгуются за тунца, и из всего я разобрал только два слова. Viejo. Manos.

Старик. Руки.

Гордо протянул длинную руку и выключил второй приёмник, не глядя, как гасят свет в комнате, из которой уходят.

— Это не погода, — сказал он.

Над столом висела бумажная карта, вся в карандаше. Курс «Тощей» шёл от Питкэрна на северо-запад, и на третьи сутки хода линия пересекала черешневую полосу. Спасательный плот на «Тощей» был один — в белой бочке на корме, у контейнера. Срок его проверки истёк в год, когда я родился. Бочки с соляркой для дробилки стояли вдоль правого борта, принайтованные тросом. Девять.

* * *

Вечером двадцать третьего Мама Лупе позвала меня на чай.

Каюта у неё была под рубкой — тесная, жаркая, вся увешанная фотографиями, образками и связками сушёного перца, так что казалось, будто сидишь внутри шкатулки, которую всю жизнь набивал один и тот же человек. Над койкой висел портрет: усатый мужчина в майке рядом с рыбой, подвешенной за хвост. Рыба была длиннее мужчины, и нос у неё был как копьё. Под портретом лежала книжка, разбухшая от воды так, что уже не закрывалась: «El viejo y el mar».

— Папа, — сказала Мама Лупе. — Он её в море брал, потому она такая толстая. Ей море в голову ударило.

Чай она достала из жестяной коробки с драконом. Это был блин — плотный, тёмный, прессованный кругляш размером с тарелку, в рисовой бумаге с красной печатью. Пуэр. Я узнал его по запаху раньше, чем по виду: земля, погреб, сырое дерево, старая кожа.

— С севера. Где я сдаю гранулы, мне платят деньгами, а сверху — чаем. Чай у них лучше денег.

На столик встала бутылка мескаля с червяком на дне, свёрнутым запятой.

Блин я взял сам. Отломил не с края, а из середины: поддел ножом, расслоил, отжал кусок с ноготь большого пальца. Блин был тяжелее, чем выглядел. Я решил, что он отсырел: в этой каюте сохло всё, кроме воздуха.

— Умный, — сказала Мама Лупе. — С краю не берёт. Отец так же ел рыбу: только из середины. Говорил, на краях живёт дьявол.

Я дождался, пока вода зашумит, но не закипит, и залил лист. Первую воду слил сразу, в иллюминатор: первая вода моет лист, её не пьют. Мама Лупе смотрела, как я выплёскиваю её в море, и смеялась беззвучно, одними золотыми зубами.

Чашку она дала мне толстую, белую, с отбитой ручкой.

В сквоте у Ники было две чашки — разные, обе щербатые, одна без ручки. Ника кидала заварку прямо в кипяток, горстью, не глядя, и пила обжигаясь, из той, что без ручки, держа её за бока растопыренными пальцами, как держат птенца, а целую отдавала мне. Я объяснял ей про первую воду. Она слушала, кивала, а в следующий раз опять кидала горстью и хохотала.

Второй настой вышел цвета крепкого рома. Я выпил.

Это был первый чай за двадцать два дня. Он был горький, тёплый, земляной, и от него в груди сначала стало тесно, а потом свободно, как бывает, когда долго держал на руках тяжёлое и наконец поставил.

— Сегодня двадцать третье, — сказал я. — В этот день здесь сожгли «Баунти». В этой бухте.

Мама Лупе отпила мескаля и подумала.

— Умные. Корабль у острова — это соблазн. Пока есть корабль, все смотрят на море. Сожги корабль — и все начинают смотреть на соседей. У нас в Синалоа так женятся. Сначала жгут лодку.

— Бывает наоборот, — сказал я. — Жгут, чтобы нашли.

— Кто так делает?

— Кому надо домой.

Мама Лупе засмеялась в рюмку.

— Тогда жги свой, худой. Ах да, свой ты утопил. — Она постучала ногтем по переборке, как стучат по дереву. — Мой не трогай. Дома ждут?

Я налил третий настой.

— Ждут.

— Тогда пей. Дом далеко.

Через двадцать минут пришла холодная вода.

Мне рассказывали, как это бывает, много раз. Пыль — тёплая ванна. Тишь — холодная вода, как если бы ты вошёл в озеро на рассвете и не остановился. Так и было. Холод начался изнутри, от середины, и пошёл к краям — к пальцам, к губам, к векам, — не больно, а так, как идёт по стеклу иней. Сердце сделало удар — и задумалось. Чашка в руках стала тяжёлой, как тот блин, и я понял, почему он был тяжёлым. Тишь ничем не пахнет и весит как сахар. Сколько его ни ломай из середины — у пропитанного блина нет середины.

— Тише, тише, худой, — сказала Мама Лупе, покачивая мескаль в рюмке. — Сиди. Мама не ест тех, кого поит чаем.

Ноги слушались, но издалека, как слушаются приказа, переданного по цепочке через много людей. Я подумал о лотосе. Отец читал мне это место быстро, почти скороговоркой, как будто боялся на нём задерживаться: товарищи Одиссея съели медовый плод и больше не хотели домой — не забыли дом, а просто расхотели, — и он тащил их к кораблям силой и привязывал под скамьями гребцов.

Привязать меня было некому. Я привязал себя сам — к цифре. Двадцать четыре недели и один день. Цифра была тёплая. Пока я её держал, мне ещё хотелось домой.

Последнее, что я видел, — Мама Лупе наклонилась и аккуратно, двумя пальцами, вынула у меня из рук чашку без ручки, чтобы я её не разбил.

* * *

Холод пришёл раньше света.

Сначала я не знал, что у меня есть тело. Потом узнал по холоду. Холод лежал на мне ровно, со всех сторон, как вода лежит на камне. Потом у самого уха что-то зашуршало — сухо, жестяно, как обёртка от шоколадки, — и я понял, что это я сам: я дышу, и от дыхания шуршит то, во что я завёрнут.

Фольга. Спасательное одеяло, золотое с одной стороны, серебряное с другой.

Я помнил, как меня несли. Обрывками: покачивание, звёзды, ранчера, и у самого моего лица — крошечная Дева Мария на шнурке. Чикито нёс меня бережно, как на празднике несут по улице статую святой.

Над дверью горело табло. Я видел его отражение в рифлёном потолке, перевёрнутое: «+4.0».

Я нашёл пульс на шее — пальцы слушались медленно, как чужие, — и досчитал до минуты. Тридцать восемь. Шесть часов прошли: тишь отпустила, и я вынырнул, как и рассказывали, холодный, пустой и очень спокойный. Спокойствие было хуже холода. Холод хотя бы был снаружи.

— Доброе утро, сэр, — сказали из темноты.

У дальней стены на расстеленных картонках лежала гора. Гору тоже завернули в фольгу, только фольги на неё не хватило: из-под золотого края торчали босые ступни размером с мои ботинки и толстая щиколотка в железном браслете, и от браслета шла цепь к рыму, вваренному в пол. Над фольгой было лицо — круглое, молодое, тёмное, с такими длинными ресницами, что в синем свете лампы от них падала тень на щёки. Вокруг пояса поверх шорт была повязана циновка из пандануса, выгоревшая, перетянутая верёвкой.

— Сейчас утро? — спросил я. Голос шёл медленно, как вода через тряпку.

— Не знаю, сэр. Мама говорит: проснулся — скажи «доброе утро». Даже если ночь. Утро — это когда проснулся.

— Мама Лупе?

— Не эта мама, сэр. — Он подумал. — Моя.

Его звали Сионе. Ему было двадцать лет, он был с Тонга, с острова Вавау, и в контейнере лежал «с тех пор, как пришёл». Сколько дней — не считал: мама говорит, дни считают только в тюрьме. Он не шутил. Он вообще, как я понял за ту ночь, не шутил никогда: каждое слово значило для него ровно то, что значило, и он клал их одно к другому бережно, как кладут камни в стенку без раствора. Циновку он не снимал, потому что мама говорит: перед старшими надо быть одетым как следует. Старшим здесь был я. И Доктор.

Они с дядей вышли на лодке ставить сети, и у лодки умер мотор. Их несло двадцать шесть дней — дядя считал, он был старый и тюрьмы уже не боялся. На двадцать седьмой их подобрала «Тощая». Мама Лупе дала им воды, тортилий и одеяла. Потом пришёл Доктор и увёл дядю.

— Куда?

— На север, сэр. Доктор сказал: дядя поедет на север, лечить больных людей.

Он сказал это с гордостью.

Ботинки мои стояли у двери, рядышком, носками к выходу, как ставят в бане. Под стелькой левого лежал уголок страницы. Игла была на месте, под отворотом. Банки Финча в кармане не было.

Пальцы я согнул, разогнул, согнул. Они не сложились щепотью. Впервые за много лет они не держали иглу — лежали на фольге, как чужие.

Холод звал на дно. Не тянул — именно звал, вежливо, как Сионе, и обещал, что на дне никто никому ничего не должен. Чтобы туда не уйти, я начал читать.

Про себя: вслух не хватало дыхания. Главу о родах, с первой строки. Как считать схватки и когда начинать беспокоиться. Что приготовить заранее: чистую ткань, кипячёную воду, новое лезвие, две нитки. Голова. Плечо. Не тянуть. Никогда не тянуть за пуповину. Ребёнок должен закричать; если не кричит — очистить рот, растереть спину. Ребёнка, родившегося раньше срока, — эту страницу я помнил лучше всех — нельзя оставлять в холоде ни на минуту. Голым на голую грудь матери, к коже, и укрыть обоих сверху, и греть, греть, греть. У Ники была печь. Если там есть кому вставать в три.

Я дочитал до последа и начал сначала.

Пальцы на фольге сами начали отстукивать. Медленно, медленнее сердца. Это была басовая партия, которую Ника когда-то разучивала в сквоте и всё время торопилась: там между нотами надо ждать, дольше, чем кажется правильным, — а ждать она не умела, лупила по

струнам раньше времени и хохотала. Я не знал, что это за песня. Я знал только, где в ней надо ждать. Пальцы ждали. Сердце ждало вместе с ними.

Сионе в темноте запел. Тот самый гимн, низко, медленно, держа длинные ноты.

— Мама говорит, — сказал он, допев, — когда холодно, надо петь. Песня греет изнутри.

— Твоя мама умная.

— Да, сэр, — согласился Сионе. — Умнее этой.

Руки — сорок, сказал Доктор. Шьёте. Теперь я понимал, что он смотрел. Руки, которые я выучил по рисункам, чтобы в мае поддержать голову, развернуть плечо и перевязать пуповину в двух местах, Доктор собирался продать отдельно.

* * *

Дверь открылась утром. Я понял, что утром, потому что в щель вместе с тёплым воздухом вполз запах тортилий и первая ранчера нового круга.

Доктор вошёл с проигрывателем под мышкой и термосом в руке. Халат на нём был свежий, выглаженный, с острыми складками на рукавах. Он перевернул ведро, сел на него, как садятся на табурет у постели больного, и долго протирал пластинку рукавом.

— «West End Blues», — сказал он. — Слушайте начало. Только начало. Там его ещё никто не держит.

Игла опустилась. В синий свет, в плюс четыре, вошла труба — одна, без оркестра — и пошла вверх, каскадом, как человек взбегает по лестнице через ступеньку, на самом верху остановилась, огляделась — и пошла вниз, медленно, с достоинством, как спускаются к гостям. Доктор поднял иглу.

— Двенадцать секунд, после которых джаз стал искусством. Человек вышел один и двенадцать секунд играл то, что хотел. Я слушаю это каждое утро. Перед работой. — Он налил из термоса в крышку что-то тёмное, дымящееся и поставил у моей головы. — Ваш чай. Пейте, когда захотите. Вы захотите.

Пошла другая вещь, медленная, похоронная, с трубой, которая шла за гробом и не плакала только потому, что ей было некогда. «St. James Infirmary».

— Был такой француз, Ламетри, — сказал Доктор. — Полковой хирург, как я. Почти как я. Заболел лихорадкой и заметил, что от температуры у него меняются мысли. Горячая кровь думала одно, холодная — другое. Встал и написал книжку о том, что человек — машина, которая сама заводит свои пружины. А умер, съев один целый паштет с трюфелями. Я думаю, он хотел проверить, сколько выдержит машина. Я его за это люблю.

Он поднял свою правую руку, длинную, красивую, и посмотрел на неё против лампы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.